

ЛЕОНИД
ЗОРИН

ДЕСЯТЫЙ
ДЕСЯТОК



Леонид Генрихович Зорин
Андрей Леонидович Зорин
Десятый десяток.
Проза 2016–2020
Серия «Художественная серия»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67799543

Десятый десяток. Проза 2016—2020: Новое литературное обозрение;

Москва; 2022

ISBN 978-5-4448-2046-9

Аннотация

Поздняя проза Леонида Зорина (1924–2020) написана человеком, которому перевалило за 90, но это действительно проза, а не просто мемуары много видевшего и пережившего литератора, знаменитого драматурга, чьи пьесы украшают и по сей день театральную сцену, а замечательный фильм «Покровский ворота», снятый по его сценарию, остается любимым для многих поколений. Не будет преувеличением сказать, что это – интеллектуальная проза, насыщенная самыми главными вопросами – о сущности человека, о буднях и праздниках, об удачах и неудачах, о каверзах истории, о любви, о смерти, приближение и неотвратимость которой автор чувствует

все острее, что создает в книге особое экзистенциальное напряжение. И конечно же, о творчестве, а конкретней о писательстве, которое, по свидетельству Зорина, и счастье, и каторга, и тайна, ее он не устает разгадывать, вглядываясь в себя, в свои возможности, в свою неутолимую творческую неудовлетворенность. В книгу помимо небольших повестей вошли и отобранные его сыном самые последние записи, которые автор вел до конца дней и которые представляют собой особый жанр, афористичный и чрезвычайно емкий, позволяющий почувствовать естественный, как дыхание, ежедневный труд осмысления завершающейся жизни.

Содержание

Dum spiro scribo	5
Мастерская Волина	15
Братья Ф.	71
Бубенчик	122
Лишние слезы	158
Конец ознакомительного фрагмента.	159

Леонид Генрихович Зорин

Десятый десяток.

Проза 2016—2020

Dum spiro scribo

1

Книгу «Десятый десяток» составили небольшие повести – преимущественно они, хотя в сборник включена и одна пьеса. Леонид Зорин писал эти тексты в самые последние годы, действительно в девяносто с лишним лет.

Казалось бы, это ли не возраст мемуаров, внимательных воспоминаний о прожитых годах и эпохах? Но нет, это книга не о минувшем, а о призвании и ответственности за него. Автор знаменитых «Покровских ворот» и «Царской охоты» смотрит словно бы сквозь свое прошлое – глубже, дальше, вглядываясь в то, что стояло за потоками событий и встреч, и исходя из того, что жизнь не складывается сама собой, человек выстраивает ее сам. Разумеется, обстоятельства, рок, случайности играют свою, счастливую или трагическую роль, и все-таки главные выборы и поступки совер-

шает главный герой.

Леонид Зорин осмысляет именно это: выборы и точки роста, определившие его литературную судьбу. Траектория собственного писательского пути и есть метасюжет этой прощальной книги, проступающий во всех без исключения повестях – и откровенно автобиографических, и тех, где действуют вымышленные герои, впрочем, часто авторские двойники.

Станций, на которых Леонид Зорин останавливается снова и снова, несколько. Первая из них – родное Баку.

«Полуденный щедрый юг», где «порт, и плеск маслянистой волны, пахнувшей мазутом и солью», этот звонкий и красочный мир, как предполагает автор, во многом и пробудил в нем любовь к слову, желание самому создавать такие же миры. Случилось это очень рано, почти в младенчестве – впервые, помахивая карандашиком, мальчик объявил родителям, что станет писателем, в четыре года. И тогда же сочинил свои первые строчки. 90 лет спустя он описал свой тогдашний восторг так: «Испытываешь острую радость, когда открываешь в себе способность найти созвучья и породнить слова, которые жили врозь, помочь их встрече, соединить их».

Радость от соединения слов оказалась такой силы, что к десяти годам юный автор написал свой первый стихотворный сборник, включивший и стихотворения, и поэмы. Юный поэт вырос, выучился и отправился покорять Москву. И

послевоенная столица ему улыбнулась, его дебютная пьеса «Молодость» была поставлена на сцене Малого театра, а дальше премьеры новых пьес сопровождался почти каждый год.

Наш герой зажил «нарядной и небезопасной жизнью профессионального драматурга», в которую, впрочем, вместились не только слава, но и запреты на постановки, и годы исключенности из литературного процесса. В последние два десятка лет служение театральным музам сменилось сочинением прозы, сдержанной, лаконичной, действительно «суровой», без стилистических излишеств и шумных игр. Языковая палитра позднего Леонида Зорина – преимущественно черно-белая.

И вот она финальная станция – на ней стоит человек, которому остались считанные годы, месяцы, отвлекаться на второстепенное некогда, хочется думать только о самом важном: да что же собственно это значит, 90 из 95 отведенных лет заниматься сочинительством? Что такое вообще призвание?

Впрочем, Зорин явно предпочитает ему слово «профессия». Потому что если писательство и призвание, то «каторжное». Романтические и мистические коннотации неуместны, писать – радостно, но тяжело. «Творчество, может быть, – высшее счастье, которое дано человеку. Хотя это прежде всего изнурительный, если угодно, каторжный труд».

Книгу открывает повесть «Мастерская Волина», герой ее, известный писатель и очевидный авторский двойник, недаром носит фамилию Волин. Здесь слышна перекличка и с собственной фамилией, и с толстовским Жилиным, кавказским пленником, мечтавшим о побеге из неволи, из предложенных невыносимых обстоятельств. Но в семантике имени Волин скрыт и другой подтекст. Это не только воля как синоним свободы, это и та воля, что влечет автора к победе над текстом, к непременно завершению начатого труда. Чтобы дойти до конца, необходима именно воля. «Есть три условия, три составляющие любого писательского успеха. Надо иметь хороший вкус и графоманскую одержимость. Конечно, известные способности. Но есть и еще одно, самое главное – железная, жестоковыйная воля», – формулирует Леонид Зорин уже в повести «Присядем перед дорогой».

В «Мастерской Волина» немолодой писатель объясняет своей возлюбленной, литературной даме, тоже сочиняющей прозу, как следует работать над произведением. Начинать надо, понятно, с замысла. Выносить его, выстрадать, после этого подыскать «равные ему по калибру» характеры, а затем и жанр, и стиль – из разговоров героя с собеседницей складывается настоящий учебник писательского ремесла в свободных главах, пропитанный все той же заветной мыслью:

жизнь литератора «не изюм», а галеры, не парение, а «бурлацкий труд».

И все же помимо воли, способностей, одержимости в запасе у писателя должно быть еще кое-что. «Литература – это память», этим афоризмом одарил тогда еще десятилетнего Леонида Зорина Исаак Бабель.

Бакинского вундеркинда решили показать Горькому, а в компании Бабеля мальчик ехал к нему в Горки.

При встрече Алексей Максимович нацедил юному поэту немного водки:

«– Пей, Леня, водку, коли писатель. Все писатели водку пьют. Я выпью, и Бабель выпьет тоже. Выпей уж с нами, от всей души. Не подводи-ко нам коммерцию.

Так вновь я был посвящен в этот орден, в тот же ошеломительный день».

Дело происходило в 1934 году, за два года до смерти Горького. И действительно поразительно, ошеломительно встретиться с ним живым, успеть получить его благословение. И все же настоящим учителем для Зорина стал Исаак Бабель. И неважно, что общение с ним продолжалось всего несколько часов. В машине, по дороге в Горки, Бабель общался с мальчиком на равных, тепло и заинтересованно, называл собеседника на «вы». Они успели обсудить Гоголя, театральное искусство и перенасыщенный событиями, еще только на треть прошедший, XX век, про который писателям будет что рассказать.

Полный восхищения и любви портрет автора «Конармии» и «Одесских рассказов» – из лучших страниц в книге. Судьба Бабеля словно бы стала для Леонида Зорина зеркалом, он смотрелся в нее, узнавая и не узнавая себя: рождение в южном городе, литературный дар, иудейство. «Должно быть, жила в нем дурманная музыка, своя сокровенная мелодия, своя озорная, веселая тайна. Недаром же в таком изобилии рождались в нем жаркие, звонкие люди. Неугомонные непоседы. Неукротимые фантазеры».

Но именно это – неукротимость, внутренняя независимость Бабеля и убила, потому что из всех рамок и ролей он выламывался:

«Не то очкарь, шелкопер, придумщик.

Не то буденновец, конармеец.

Однако Буденный его не терпит, имени его не выносит.

Но любит Горький, наш буревестник, великий пролетарский писатель».

Однако Горький умер, а вскоре после этого Бабель был арестован и тайно расстрелян. Он не успел завершить роман и встретил инквизиторов усмешкой: «не дали закончить». И все же он успел написать немало талантливых текстов, а однажды одарить юного поэта из Баку двумя афоризмами: «Литература – это память». И «истинная страсть молчалива».

Мальчик эти слова запомнил. Они прозвучали как благословение и завет, который Зорин исполнял потом всю жизнь.

Предпочитал лаконичную форму, писал плотно, энергично, но немногословно, без стилистической пышности и повествовательной безбрежности, недаром любимыми жанрами его оставались пьеса, затем повесть, не роман. И еще всегда опирался на воспоминания о встречах, разговорах, событиях. Ведь и самая знаменитая его пьеса «Покровские ворота» – воспоминание о молодости в московской коммуналке.

3

Рассказ о Бабеле и Горьком в этом сборнике появился, потому что встречи с ними напрямую связаны с посвящением автора в литераторы. Все же «Десятый десяток» никак не мемуары, хотя невозможно об этом немного не вздохнуть украдкой: сколько сцен и историй мог бы рассказать автор, начавший свой путь при Сталине и доживший до наших пандемийных времен! Но замысел есть замысел, перед нами не воспоминания, а кредо о том, что значит быть писателем. Это кредо проговорено отчетливо, но без пафоса. И суть его сводится в общем к почти скучному «честно делай свое дело»: пиши буковки, соединяй слова. Пиши, пока живешь, пока дышишь, в этом и заключается твое противостояние энтропии и смерти, пиши о самом важном, пиши, но не предавай себя и профессию. Вот такой *modus vivendi*.

«Соловьиная пора» Леонида Зорина пришлась на подцензурное советское время, и Зорин рассказывает о запре-

те (сразу после премьеры!) пьесы «Гости», отважно поставленной Андреем Лобановым в театре имени Ермоловой, но это, пожалуй, и все. Подобные истории, более и менее сокрушительные, несомненно сопровождали честного писателя постоянно, однако «Десятый десяток» – не сведение счетов, не выяснение отношений с властью, это книга о ремесле и о том, какие жизненные выборы могут обеспечить его спокойное развитие. Один из ключевых – дистанцирование от государства.

И хотя политические темы обычно не выходят в этом сборнике на первый план, взгляды Леонида Зорина реконструируются без труда. Тоталитарный режим для него очевидное зло, Сталин – однозначно убийца: «Я никогда не соглашусь, что тот, кто, не дрогнув, извел, уничтожил почти миллион своих соотечественников, не злобный палач и кровавый преступник, а лидер и умелый хозяин». И, значит, единственно возможная жизненная стратегия для писателя, живущего в государстве, стоящем по колено в крови собственных граждан – держаться подальше. «Сознательно выбранное отстранение» – вот формула писательского поведения, предложенная в автобиографической повести «Дамир», одной из самых тонких в книге. В ней рассказывается о встрече с бакинским одноклассником, одаренным и целеустремленным, ставшим государственным человеком и однажды предложившим нашему герою если не прямое сотрудничество, то во всяком случае сближение с государством.

Напрасно, предложение было вежливо, но твердо отвергнуто, соблазн отсечен. Никаких объяснений этого решения не последует, но все в общем и так прозрачно. Иначе писателя в себе не сохранить, иначе вообще не выжить.

«Нужно лишь раз навсегда запомнить, что смысл писательского пострига не в том, чтобы спасти человечество, а чтоб помочь себе уцелеть», – это могло бы прозвучать эгоистически, если бы дальше не следовало уточнение: «Высшая радость – найти, обрести, добыть необходимое слово. Это и есть твое назначение, твое оправдание, твой полет». «Пуля убивает врага, слово способно свалить государство. Поэтому все правительства в мире не жалуют наш графоманский цех и держат его под своим прицелом. Разумная мера предосторожности, когда встречаешься с гуманистами».

Поиск нужного слова, соединение слов, утверждающих ценность человеческого существования, и стали главным делом Леонида Зорина и его счастьем. В конце книги приводятся размышления писателя уже на пороге смерти. Они полны восторга и благодарности за все, что было дано.

«И в сотый, и в тысячный раз твержу: нет большего дара, чем дар писательства. Как мне отчаянно повезло, какое выпало упоение, какой высокий порыв души, я одолел притяжение почвы и наконец-то обрел пространство.

Мне хорошо, мне так хорошо, легко, свободно, какое чудо! Написать и не расплескать, как счастлив я, что рожден писателем, что я составляю единое целое с письменным сто-

лом и пером, нет уз, нет тьмы, лишь свет и свобода. На этом я и поставлю точку. Спасибо, я счастлив. Все хорошо».

Откуда же черпаются эти свет и свобода, из чего они сотканы, наконец? Из радости творчества, из восторга создавать с помощью слов новые вселенные и утверждения своего человеческого достоинства.

Вот какой путь придумал себе один талантливый мальчик из города Баку. И, что самое интересное, воплотил свои детские замыслы и прошел этим путем, ни разу не уклонившись, до конца.

Майя Кучерская

Мастерская Волина

Т. Поспеловой

Диалоги

1

Не верилось, что я доживу до этих драматических лет, когда попросят меня поделиться воспоминаниями о Волине.

Ушел он до срока, хотя положено считать его годы вполне естественными для неизбежного расставания. Когда-то нас разделяли с ним более пятнадцати лет – теперь я гораздо старше него. Никак я к этому не привыкну – всегда ведь смотрела снизу вверх.

И грустно мне нынче, зачем скрывать? Странно устроена наша жизнь – иной раз от добрых новостей (а интерес к нему – добрая весть) печалишься более, чем от дурных. Может быть, тут виной мои годы – смещают и ракурс, и восприятие. Теперь он мне кажется молодым.

К тому же даровитые люди неведомым образом ухитряются почти до седых волос сохранять столь неуместную ин-

фантильность. Она, кстати, выглядит так же курьезно, как затянущаяся девственность у нашей сестры – и с целомудрием расстаться следует своевременно.

Вы просите написать о том, что мне запомнилось о Волине. Тут возникает и та опасность, что надо будет говорить о себе. Старые дамы не прочь намекнуть, что, если б не их безупречный такт, они бы доходчиво объяснили, кому в самом деле обязан читатель.

Однако меня ничуть не прельщают сомнительные лавры Авиловой, хоть ей удалось запудрить мозги даже весьма ядовитому Бунину. Он сразу признал, что мемуаристка была по-таенной любовью Чехова.

Вполне возможно, что Бунин лукавил. Его очевидная неприязнь к Ольге Леонардовне Книппер могла побудить его вдруг припрятать свои беспощадные коготки и неожиданно изобразить не свойственное ему простодушие.

Я, впрочем, не хочу комментировать биографии знаменитых людей. Особая зона: я убедилась, что в ней происходит своя игра, и часто это – игра без правил.

А мне, как вы знаете, много лет, но мало сил, чтобы блуждать в лабиринтах. Я не спешу занять место в очереди. Я попросту расскажу, что я помню, и поделюсь с вами тем, что думаю. И его юность, и его молодость достались другим, я была с ним рядом уже в достаточно зрелую пору.

Навряд ли можно его назвать легким в общении человеком. Никто не мог бы его укорить в подчеркнутой замкнуто-

сти, но не спорю – разговорить его было трудно. Сам он не раз и не два замечал, что графоманы, такие, как он, в конце концов устают от слов – по этой причине приходят к сдержанности.

Он избегал «больших полотен», свой так называемый минимализм он объяснял своей плодовитостью. Однажды грустно сказал, что краткость не столько стремление к совершенству, сколько свидетельство об исчерпанности. «Слова иссякают вместе с возможностями», – вздохнул он в одной из наших бесед. По вредности я его обвинила в кокетстве, он сумрачно промолчал.

Чем я внушила ему доверие и почему он со мною делился так щедро своими соображениями? Не знаю. Зачем мне об этом думать? Всегда есть соблазн заговорить о некоторых своих достоинствах – вот так и соскальзываешь в муравейник, где шумно и неутомимо хлопчут иные профессиональные музы. Надеюсь – не угожу в паноптикум.

Я ворошу свои старые записи, свои дневнички, свои заметки – как многие, я не избежала попыток хотя бы так укротить струящееся меж пальцев время. Эти конвульсии не помешали заняться общепольным трудом – зато сегодня так пригодились. Память – непрочное вещество, и на нее нельзя полагаться.

Служила тогда я в бойком журнальчике, который при всей своей внешней лихости неотвратимо дышал на ладан.

Обидно. Безвременная кончина этого тощего органа мыс-

ли сулила мне сложности и заботы. Мне померещилось, что повезло, что я обрела наконец свою нишу, в которой относительно сносно могу провести хоть несколько лет. Но становилось все очевидней – надежды эти безосновательны.

Мое приунывшее начальство делало судорожные попытки привлечь читательское внимание. Однажды редактор предложил, что, может статься, беседа с Волиным вызовет необходимый отклик. Не то чтобы этот угрюмый автор тревожил умы и сталкивал критиков, но репутация нелюдима, не склонного раздавать интервью, могла бы растормошить подписчиков.

– Хочу поручить это дело вам, – изрек наш стратег. – Так будет верно.

Я удивилась.

– Как вам известно, я вовсе не по этому делу. Здесь требуются особые свойства – если хотите, манок и драйв. Другими словами – все иное. От внешности до состава крови.

Редактор помедлил и усмехнулся. Этот смешок давал понять, что он все продумал и знает, что делает. Веско, неторопливо сказал:

– Конечно, я мог бы к нему заслать юную куколку с длинными ножками. Но это был бы неверный выбор. Требуется тактичная дама, перешагнувшая тридцатилетие, приятная во всех отношениях. Вас он, бесспорно, не отошлет. А вообще – не опасайтесь. Он человек цивилизованный. Да, домосед. Что тут дурного? Он не обязан любить тусовки.

Звонок мой Волина не порадовал. Он пробурчал, что сейчас перегружен, кончает работу, но, ежели мне и впрямь так важно его увидеть, встретимся на исходе месяца. На монологи он не способен, но, коли вопросы стоят того, он обещает на них ответить.

Хотя из редакторского напутствия следовало, что внешний мой вид не столь уж важен, но «вечно женственное» дало себя знать – и я полчаса перед зеркалом повертелась. Разглядывала себя придиричиво, словно готовилась к randevу. Кончилось тем, что вдруг разозлилась. Какого шута? Я в самом деле – не долгоногая вертихвостка. У каждой из нас – свое амплуа. Мое – приятная собеседница. Способная оценить внимание и вызывающая доверие.

По-своему – достойная роль.

Женская моя биография – не из успешных, тут не поспоришь. Сажу у треснувшего корытца. Спутники не были ни злодеями, ни непорядочными людьми, но их пристойные репутации вкупе с умеренными достоинствами не принесли мне особых радостей – попросту говоря, было скучно. С самой собою наедине, как выяснилось, мне интересней. Хотя нисколько не обольщаюсь на собственный счет – самолюбива, обидчива, не без амбиций. Приходится за собой послеживать. Похоже – мне это удастся. Хотя бы не раздражаю ближних. Учтиво сохраняю дистанцию.

Как говорится, могло быть хуже. В конце концов, есть и свои преимущества. Я ни перед кем не отчитываюсь, избав-

лена от трудной обязанности терпеть присутствие человека, имеющего законное право требовать от меня внимания, заботы, служения, женской близости – в зависимости от своих пристрастий. Самостоятельность, независимость – вспомни, ведь этого ты хотела.

Приходится повторять эту мантру, чтоб столь ценимое уединение не стало смахивать на одиночество. Маленькие необходимые хитрости в нашей нелегкой женской войне. Иначе трудно справляться с жизнью.

Помощь положена неумехам и людям не от мира сего. Да мы с характером обойдуться. Таким, как я, опора не требуется. Еще бы – я твердо стою на ногах. Черт бы ее подрал, эту твердость!

2

В ту пору наш Валентин Вадимович, в сущности, был еще в цвете лет. Хотя тогда он мне представлялся едва ли не пожилым человеком, все относительно, как известно. Похоже, моя картина мира была достаточно иерархична. Персонам, обладающим весом, положено быть немолодыми. Если не полными геронтами, то близкими к этому состоянию.

При встрече с Волиным я испытала даже какую-то обескураженность, ибо увидела перед собой еще не старого человека. Плотного, хорошего роста, выглядевшего отнюдь не развалиной – было ему пятьдесят с небольшим.

И он, в свою очередь, оглядел меня своими дымчатыми глазами внимательно, с неясной усмешкой. Спросил: не хочу ли я кофейку?

Я деловито произнесла:

– Спасибо. Давайте приступим к делу.

Он усмехнулся:

– Тогда изложите, что надо вам из меня извлечь?

Я сказала:

– Я представляю, как вас донимают такими беседами и что они вам осточертели. Но такова моя работа.

Волин участливо осведомился:

– Ваша работа вам не по вкусу?

Я буркнула:

– Речь не обо мне.

Волин покачал головой.

– Сурово. «Здесь спрашиваю я». Вы правы. Все верно.

Прошу прощения.

Я уловила его усмешку – уж слишком почтительно и церемонно. Почувствовала себя задетой и не сумела этого скрыть. Насупилась:

– Есть еще вопросы? Дать мои явки и адреса?

Он кротко заверил:

– Вопросов не будет. Вас понял. Ограничусь ответами.

Я с независимой усмешкой пожала плечами. Что означало: готова принять капитуляцию. Спросила:

– Вы трудитесь с удовольствием?

– Разумеется, – кивнул он со вздохом. – Иначе зачем мне эти галеры?

И доверительно пояснил:

– Прожить за столом свои лучшие годы, не испытывая при этом кайфа, может только душевнобольной.

– Классик назвал эти галеры «высокой болезнью». Ведь не случайно?

Он сказал:

– То – классик. А я – другой.

Не подступишься к этому господину! Но он, заметив, что я смутилась, смягчился:

– Хочу, чтоб вы меня поняли. Не надо рассматривать наш с вами труд, как наитие свыше, как священнодействие. Надеюсь, что я – профессионал. Как видите, вовсе не прибежняюсь. Быть профессионалом – немало. Но – не величественно. Обойдемся без причитаний и придыханий.

Я по инерции возразила:

– Сказал же Александр Сергеевич: над вымыслом слезами обольюсь.

Волин покачал головой:

– Без исполинов шагу не ступите. Сразу – то Пастернак, то Пушкин. У этих людей свои заботы, у нас – свои. Ничего похожего. Как я догадываюсь, журналистика для вас – суровая повседневность, а потаенная мечта – изящная словесность. Не так ли?

Я покраснела:

– Нет журналиста, который не мечтает о книге.

– Так я и думал, – Волин вздохнул. – Не мне вас осаживать и укорачивать, могу лишь подать дурной пример, но – вас поразили опасный вирус.

Я сухо сказала:

– Вполне сознаю. От этого нисколько не легче.

Мне было трудно сосредоточиться, точило какое-то беспокойство. С грехом пополам, сердясь на себя, я завершила свое интервью. Когда я собиралась откланяться, он неожиданно проворчал:

– Не исчезайте на веки вечные. Если возникнет у вас охота – зайдите. Буду рад вас увидеть.

Не понимая, какой должна быть моя реакция, я сказала, что занесу ему номер журнала, в котором будет помещена наша сегодняшняя беседа.

Волин сказал, что свои откровения читать ему, в общем, необязательно, а вот с моим персональным творчеством был бы и впрямь рад познакомиться. Эти слова меня удивили.

Выждав приличествующий срок, я отослала ему машинопись. Снова тревожить его визитом я не решилась – его приглашение восприняла как фигуру речи. Тем бóльшим было мое удивление, когда уже несколько дней спустя я получила его письмо.

«Я, кажется, вам внятно сказал, чтоб Вы занесли свое творение, не прибегая к услугам связи. Коль скоро Вы такая поклонница эпистолярной формы общения – извольте, но

имейте в виду: к длинным посланиям я не способен.

Теперь о вашем произведении. Вы наблюдательны – важное качество. Можете достаточно ясно и живо выразить то, что видите. Но, чтоб задержаться в литературе, этого мало – у вас должна быть своя персональная главная тема. Пусть даже не вполне очевидная. Попробуйте сами определить ее. Понять, что вас больше всего тревожит.

И вот еще, что следует помнить: литературная работа не безопасна. – Может стать счастьем, но, вместе с тем, может разрушить жизнь. Мне привелось увидеть немало жестоко погубленных ею людей. Необходимо обладать некоторыми исходными качествами, чтобы ступить на такую коварную и вероломную территорию. Если хотите, можем подробнее остановиться на этой теме».

3

С этого письма-приглашения все между нами и завязалось. Пошло-поехало, покатилося. А вскоре, с радостью и тревогой, я убедилась, что литературство – не налетевшая вдруг причуда, не женская потребность эффектней принарядить, подрумянить будни – похоже, во мне неспроста поселился этот обременительный зуд.

Я обнаружила, что хочу как можно тщательней и подробней записывать разговоры с Волиным. Это желание обескуражило, но и обрадовало меня. Прежде всего, своим беско-

рытием. Мне ведь и в голову не приходит когда-либо опубликовать свои записи. Я поступаю так потому, что все услышанное, увиденное, все, что я чувствую и обдумываю, незамедлительно идет в дело, должно быть сразу же зафиксировано. Иначе мне покоя не будет, все против шерсти и свет не мил. Стало быть, я не вполне случайно присохла к письменному столу. Правда, чтобы самой понять, насколько без него неоправданна, бессмысленна и пуста моя жизнь, потребовалось стать ванькой-встанькой. И больно падать и вновь вставать.

4

Когда дорожки наши скрестились, я, сколь ни грустно, уже миновала девичью пору, но, тем не менее, была сравнительно молода. И, разумеется, не отличалась предусмотрительностью и дальновидностью. Общались мы тесно и долгие годы – при мне он из полного сил мужчины неукоснительно превращался в грустного старого человека. Мне остается лишь сожалеть, что я не сразу – совсем не сразу! – сумела понять, что надо мне делать.

Я записала совсем немного его советов, и уж тем более фразочек, брошенных мимоходом, даже существенных соображений. О чем теперь безмерно жалею.

А он, скорей всего, неспроста с такою трогательной настойчивостью внушал, что разумному литератору необходи-

мо тут же фиксировать слово, наблюдение, мысль. И непростительная беспечность – довериться памяти. Избирательна, склонна то к ретуши, то к коррекции, то попросту дырява, как сито – нет, ненадежна и подведет!

– Записывайте. Все блекнет, все гаснет, все незаметно уходит в песок. В чем суть и смысл нашего дела? Уметь останавливать каждый миг и пригвоздить его, заарканить. Он только и норовит ускользнуть.

Как он был прав! Теперь мне приходится тратить так много своих силенок, чтобы придать хоть какую-то стройность и относительную последовательность редким и отрывочным записям, догадкам и кусочкам из писем, моим сохранившимся бумажонкам.

Я никогда не была – и с чего бы? – ни продолжением карандаша, ни приложением к вечному перышку, так и не стала профессионалом.

Больше того, с непомерным усилием усаживала себя за стол (ах, эти бабские настроения!). Что делать? Для добровольной схимы надо родиться таким упертым, стойким служителем этого культа. Мне остается лишь пожалеть, что я была из другого теста. Не та порода, не тот замес.

Я только отчасти, фрагментарно, воспользовалась его советами, хотя в ушах моих до сих пор звучит его упреждающий голос: Записывайте! То, что увидите, услышите, и о чем подумаете. Причем – не откладывая ни на минуту.

Сам он всегда был готов к аскезе, хотя в ту пору был вовсе

не стар. Во всяком случае, в ледовитом, прямом значении этого слова. Прожить полстолетия – это не шутка. Но ныне я хорошо понимаю, что это звездный мужской сезон. Хорошего роста, лишь с легкой проседью, брюнет (он посмеивался: brunet). Плотный, но не дородный, осанистый. Перемещался в пространстве неспешно, вразвалочку – эта манера при-суца либо бывалым морячкам, либо людям, имевшим касательство к спорту, был усмешлив (эта его усмешечка меня поначалу всегда настораживала), делал меж фразами краткие паузы – возможно, чтоб дать своему собеседнику время воспринять его мысль. При всей его ровности и приветливости было ясно, что цену себе он знает.

Подобную трезвую самооценку обычно приравнивают к высокомерию. Что безусловно несправедливо. В конце концов, почему бы ему не понимать и не видеть того, что понимают и видят другие?

Но есть освященное давней традицией правило хорошего тона – сам автор не ведает, что творит. Этаким трогательный лопух. Долгие годы тянуло высказать то, что я думаю: «Все эти неброские „скромные“ люди способны лишь на такое же скромное, непритязательное искусство».

5

«Записывайте. Все время записывайте». Порой это требование казалось какой-то навязчивой идеей. Я даже подумала

однажды: это внушает он сам себе. То, что вторгается даже в сон, – на припасенном клочке бумаги записываешь словечко, тень мысли – все это не блажь и не вздор, и уж тем более не шаманство. Все это жизненно необходимо.

В тот день, когда по его приглашению я в первый раз его посетила, меж нами сразу же завязался весьма продолжительный разговор.

Вначале он долго меня расспрашивал о том, как я пишу свои опусы, как возникает и прорастает мой замысел, какая причина вложила перо в мои персты? В мои ухоженные персты?

Последний вопрос меня разозлил, я что-то твякнула – ныне мне ясно, что попросту сразу же ощутила: дочь моя, ты попадаешь в зависимость. Но эти «ухоженные персты» и впрямь раздосадовали – не соответствовали ни моей сути, ни образу жизни. Забыла, как тщательно, как по-женски готовилась к своему визиту.

Но это был чуткий господин. С каким-то отеческим участием осведомился:

– Что, очень досталось?

Больше всего я опасалась вызвать у кого-либо жалость. С одной стороны, всегда мне в ней чудилось нечто обидное, унижительное. С другой – я усматривала в ней фальшь. Вот почему на всякий случай вновь выпустила свои коготки:

– Не больше, чем всем остальным пешеходам.

Волин кивнул:

– Тогда мы созвучны. И я пешеход. Такой же, как вы.

Я вновь огрызнулась:

– Это не так. Вы пешеход по доброй воле, а я пешеход по необходимости. При первой возможности сяду за руль.

Он понимающе усмехнулся:

– Любите быструю езду?

– Нет. Так удобнее находиться наедине с самой собою. Машина дарит такую иллюзию.

– Ну что же, – вздохнул Валентин Вадимович, – вполне патрицианский ответ. И, должен сознаться, вас понимаю. Сам необщественный человек.

6

На этом увертюра закончилась. И он, как опытный дирижер, сменил регистр нашей беседы. Стал излагать свои впечатления от прозы самолюбивой гостьи. Отлично видел, что храбрый ежик на самом деле весьма уязвим. Этакая ранняя дамочка с подчеркнуто независимым видом. Похоже, он таких навиделся и чувствовал легкую разочарованность. Какое-то странное существо явилось в качестве интервьюерши – в итоге он почему-то должен знакомиться с ее самостоятельностью – глупей ситуации не придумать!

Я долго испытывала противное, грызущее меня состояние – стоило лишь напомнить себе, насколько нелепо тогда я выглядела. Закомплексованная бабенка, при этом еще не пер-

вой свежести. Вдобавок почему-то топорщится – не может найти естественный тон. На что он вынужден тратить время!

Устав разбираться с самой собой, я попыталась восстановить необходимое равновесие. Только не становись мазохисткой. Привыкни к тому, что не любишь себя. Тебе не нравится твоя внешность. Тебя раздражают, с одной стороны, твоя неуверенность, а с другой – твоя неумность. И прочие свойства. Ты никогда не договоришься с особой, которую ежедневно ты видишь в зеркале. Очень жаль. Усвоила? Ставь жирную точку.

Однако на сей раз твое положение неожиданно-негаданно осложнилось. Люди, с которыми до сих пор встречалась ты по воле редактора, как правило, либо тебя раздражали, либо – такое было удачей – не вызывали душевного отклика. Но твой последний клиент, к несчастью, тебе приглянулся. Мои поздравления. Внезапно выиграло в тебе ретивое. Или изысканней – Вечно Женственное. Только его тебе и не хватало. Уж лучше б родилась мужиком. Но этой удачи тебе не выпало.

7

Он уже с ходу меня ошаршил отношением к своему призванию. Его покорило это слово, всегда внушавшее мне уважение. Волин едва ли не зарычал:

– Если хотите со мной общаться, избавьте от торжествен-

ных терминов. Уж обойдемся без звучных фраз, всяких кричалок и заклинаний. И прочей возвышенной символятины. Есть ведь нормальное слово «профессия».

Я по привычке своей заспорила:

– А Пушкин утверждал, что прекрасное должно, тем не менее, быть величаво.

Он рявкнул:

– Не теребите классиков. Они существуют от нас отдельно. И вы явились совсем не к избраннику, а просто к честному работяге. Я не напрашиваюсь к титанам ни в родственники, ни в сослуживцы. Не излучаю свет дальних звезд и избегаю чрезовещания.

Само собой, мне захотелось напомнить, что я отнюдь его не рассматриваю как гуру и властителя дум. И, кстати, что я тоже не школьница. Жрицы у алтаря не корчу, но уважаю себя и свой труд.

Волин удовлетворенно кивнул.

– Тем лучше. Стало быть, понимаете, что надо делать. Как встали с ложа и навели марафет – к станку. За письменный стол. И, прежде чем вы не обстругаете три абзаца, не вздумайте поднимать свой таз со стула, но прежде всего проверьте: готовы ли ваши кудряшки к постригу, к этакой добровольной схиме? Писательство – одинокое дело.

И после этой весьма сердитой, почти угрожающей декларации подчеркнуто буднично перешел к весьма обстоятельному разбору моих рассказиков – фраза за фразой, слово за

словом, не упуская сущих, на первый взгляд, мелочей. Так мне, по крайней мере, казалось. О том, насколько они существенны, в ту пору знала я понаслышке. Если догадывалась, то смутно.

8

Начал он от печки – от замысла. Он и в своей работе придерживался неспешной, пошаговой последовательности. Так странно! В бытовой своей жизни он был неряшлив и беспорядочен, напротив – за письменным столом такой педантичный аккуратист.

Он мне внушал неоднократно:

– С замыслом будьте особенно бережны. Нет смысла его теревить и подталкивать.

И повторил, очевидно, не веря, что я хорошо его поняла:

– С замыслом поживите подольше. Не дергайтесь. Не спешите начать, как бы вам этого ни хотелось. Юные авторы бьют копытцами, их дрожь колотит, грива встает. Тянет скорей – головою в омут. И все же – опасайтесь фальстарта. Сам до сих пор себя осаживаю. Пытаюсь оправдать себя возрастом: не я тороплюсь, торопит время. Оно убывает, могу не успеть. Но все эти доводы – ни к чему. Ибо запомнить нужно лишь то, что недоноски недолговечны.

Я озабоченно спросила:

– А не боялись вы перегореть? Вдруг потеряете вкус к ра-

боте?

Этот вопрос его обрадовал.

– В яблочко! – воскликнул он весело. – В самую болевую точку. То-то и оно, что терзался: дождешься! Уйдут кураж и азарт. И не заметишь, как выйдет пар. Было ведь жгучее беспокойство. Вам-то, москвичке, оно незнакомо. А я ведь южанин – провинциал. Вы лишь представьте: в приморском городе юноша томится бессонницей. Где-то тревожно перекликаются дальние гудки паровозов, словно призывно трубит судьба. Словно нарочно напоминает: «Поезд уходит, пошевелись! Думаешь, молодость бесконечна?».

Я только головой покачала:

– И как это вы сумели ужиться с таким самоедом?

– Спасибо ему! – воскликнул Волин. – Он меня спас. Есть лишь один плодотворный спор – тот, что ведем мы сами с собою. Все прочие споры, и среди них – даже великие христологические – сколь это ни горько, бесплодны. Идет перетягивание каната, борьба самолюбий и аргументов. Другое дело, когда оппонируют собственный мозг и собственный норов. Тут все на кону – сама ваша жизнь. А уж в писательстве уровень цели, ее калибр – первостепенны. Ахматова совсем не случайно так выделяла величие замысла. Была уверена, что оно определяет исход всей битвы. Аз недостойный чувствую так же.

Эта преамбула, что отрицать, произвела на меня впечатление. Я ощутила пусть не подавленность, но огорчительную растерянность. Если он этого добивался, то, безусловно, он преуспел.

Во мне едва ли не с детских лет копилась и крепла самоуверенность. Не лучшее качество, но меня оно несколько не удручало. Больше того, я ее пестовала. Казалось, что с нею мне будет легче отстаивать свою независимость. Я полагала, что коли ты личность, то и обязана пуще глаза оберегать свою автономность. Только она дает тебе шанс справиться с этим ощеренным миром.

Когда я уверилась, что писательство – это и есть мое главное дело, я окончательно вбила в голову: отныне нет ничего важней, чем выгородить свою делянку. Иначе в конце концов превратишься не то в эпигона, не то в приживала в какой-нибудь литературной прихожей. Стоит лишь показать слабинку, и ты беззащитна – сомнут, схарчат. И будешь долгие годы тратить свои силенки на поиск опоры, на жалкую борьбу с одиночеством.

Он долго и терпеливо втолковывал, что суть и цену возникшего замысла в первую очередь, определяют не любопытная история, не лихо закрученная интрига. Всегда в начале начал посыл, который усаживает за стол – руководящая идея, то, что Александр Сергеевич когда-то назвал излюбленной мыслью.

А уж потом прижился тот странный отрывистый термин – идея фикс, по-русски – навязчивая идея. Навязчивая – отнюдь не излюбленная. И если такой эпитет вам кажется неуважительным, неуместным, больше того – неприятно царапает, можете выбрать слово возвышенной – и назовите эту идею преследующей вас, неотступной.

В конце концов, дело не в обрамлении, не в характеристике мысли, а в сути ее, в ее связи со временем, с общественным климатом, с температурой. Нам надо понять, по какой причине вам нужно разбудить человечество. Или хотя бы уразуметь, в чем назначение ваших радений.

Однако и этого недостаточно, чтоб перейти непосредственно к тексту. До этого еще далеко.

И вдруг лицо его омрачилось. Казалось, столь длительная оттяжка и неготовность начать работу его озадачивает и удручает – мне захотелось его утешить. Но тут он словно взял себя в руки.

– Замысел требует, – его голос обрел учительскую суровость, – характеров, равных его калибру. Им предстоит вступить в непростые, своеобразные отношения. То совмещая несовместимое, то, наоборот, доходя до абсолютного отторжения, причем иной раз при явной схожести, родственности, безусловной близости. Вас ожидает много сюрпризов. Тогда и возникает сюжет.

Однако не торопитесь радоваться. Есть литераторы – их немало – которые искренне убеждены, что здесь-то настал их звездный час. И что они, наконец, схватили Бога за бороду. Это ошибка! Не торопитесь, умерьте прыть. Прежде чем попробовать вывести первое слово, надо пожить подольше с характерами ваших героев, понять их потенции и особенности и убедиться, что неслучайно вы им доверили свой секрет, что в самом деле они способны дать этим людям душу и плоть. Только тогда, когда убедитесь, что это так, приступайте к работе.

– Ну, слава Богу, – сказала я, – и не надеялась, что дождусь. Долго же вы меня мытарили. Не знаю, как выразить благодарность.

Он пробурчал:

– Приятно слышать. Я уж подумал, что вас запугал.

Я покачала головой:

– Мне в волинской мастерской хорошо.

И это было действительно так, хотя во мне в то же время клубились самые разнородные чувства. Досада, смяте-

ние, уязвленность и неподконтрольная нежность. Этакая горячая смесь. В ту пору была я амбициозна, шерстиста и совсем неконтактна. Все эти мои милые свойства подпитывались чрезмерно раздутым, гипертрофированным самолюбием. Поэтому и вела я себя с каким-то малопонятным вызовом. То дерзко, то подчеркнуто замкнуто. Мне драматически не хватало покоя и необходимой естественности. Просто говоря – выпендривалась.

Теперь-то мне ясно, что мой собеседник легко угадывал эту игру и видел все мои ухищрения. Должно быть, про себя веселился. Внешне он был весьма приветлив и по-старинному куртуазен. Это уже давным-давно забытое слово точнее прочих передает такую подчеркнутую учтивость. Тоже, наверное, вел игру – этакий снисходительный мэтр, который, однако ж, держит дистанцию. Впрочем, возможно, во мне опять взбрыкнули неизжитые комплексы. Ни с чем мы так трудно не расстаемся, как с нашими детскими недостатками. Похоже, что мы их оберегаем.

И все же, хотя я привычно выстраивала потешную линию обороны и окружала себя колючками, было и радостно, и тревожно. И от сознания, что Волин испытывает ко мне интерес, и оттого, что я ощущала: дитя мое, ты и сама – на крючке.

Хотя я сравнительно быстро почувствовала, что попадаю в опасную зону, все шло к предназначенной кульминации.

Тут не было ничего неожиданного. Наша сестра почти независимо от возраста и личного опыта трамбуует, едва ли не обреченно, протоптанный столькими каблучками все тот же неизменный маршрут. Подозреваю, что и мужчины ничуть не менее предсказуемы. Возможно, лишь более простодушны.

По той же неперменной традиции я успокаивала себя – смешные страхи, все обойдется. Но вряд ли хотела, чтоб «все обошлось». Играла в прятки с самой собою.

Понятно, что в этой детской игре таится своя терпкая прелесть – иначе кто бы в нее играл? Я про себя ее окрестила увертюрой к «Севильскому цирюльнику». Эта пленительная музыка всегда звучит во мне, стоит только вдруг ощутить знакомую дрожь. Прелесть подобных ассоциаций, скорей всего, в их необъяснимости.

Так ясно, так отчетливо помнится тот день, когда стряслось неизбежное. Сумерки. Я удобно пристроилась на старой тахте, он стоит у окна, смотрит на примолкшую улицу. И вдруг решительно подошел, молча уставился на меня.

Какое-то время мы оба держали насыщенную токами паузу. Потом я осведомилась:

– Что тут разглядываете?

Он тяжело вздохнул:

– На этой тахте и правда – что-то лежит роковое.

– Все верно. Не вздумайте присоседиться.

– А что со мною произойдет? – поинтересовался Волин.

– Кто его знает? Но территория заминирована. Имейте в виду.

Он обреченно махнул рукой:

– Шут с ним. Где наша не пропадала?

На этом я и остановлюсь. Ибо все прочие подробности имеют цену лишь для меня, пусть даже принято утверждать, что в них-то и скрывается дьявол.

Тем более у Валентина Вадимовича сложилась звонкая репутация – я не хочу ее дополнять. Вернусь к тому, что прямо относится к предмету нашего диалога.

12

Когда случилось грехопадение, я, к удивлению своему, вдруг обнаружила, что пребываю в совсем несвойственной мне растерянности.

Хотя и напоминала себе, что на дворе двадцать первый век и я – не усадебная орхидея, а современная москвичка: дочь моя, ты этого хотела, стало быть, радуйся и не дергайся.

Волин великодушно сказал:

– Если вам будет так комфортней, то отнеситесь к тому,

что случилось, как литератор: пойдет в копилку.

Я процедила:

– Вы очень заботливы. Но я не искательница приключений.

Он меланхолично заметил:

– Жизнь – сама по себе приключение. Ну а писательство – это поиск. Что вовсе не должно угнетать. Совсем наоборот – куражировать.

Я ничего ему не ответила. Только подумала: в самом деле, все – как всегда. Никаких катастроф.

Но на душе моей было легко. За это я себя укоряла. Поэтому я церемонно сказала:

– Благодарю вас за то, что так четко и так доходчиво объяснили. Это был крайне важный урок.

Он назидательно произнес:

– Дружок мой, я не даю уроков. Могу разве дать иногда совет. Почтенный возраст, известный опыт...

– Кокетничаете?

– Ни в коем разе. Для этого нужен особый дар, – тут он отвесил мне поклон. – Моя кустарщина в вашем присутствии воспринималась бы как профанация.

Я погрозила ему перстом:

– Что-то вы нынче разговорились.

– Как вам угодно. Готов молчать.

«Мне хорошо в мастерской Волина». Это была чистая правда. С ним я открыла ту полноту, то вдохновение бесстыдства, которая делает женщину Женщиной.

Мы сблизились, но не соединились под общей крышей. Иными словами – «не образовали семью». Я стала приходящей женой. Даже давала ему понять, что это и есть мой собственный выбор. Такая уж я вольная пташка. Не то кукушка, не то амазонка. Пока свободою горю. Сделала вид, что этот статус единственно для меня возможный.

Он сделал вид, что мне поверил. И это поселило во мне стойкую боль и стойкую горечь.

Насколько был он нежен и ласков, когда обнимал меня и голубил, настолько оказывался несдержан, когда учил меня уму-разуму. Не разругались по той лишь причине, что мне этого совсем не хотелось. А кроме того, я быстро смекнула: то, что естественно для него, мне еще нужно разгрызть и усвоить. Я про себя негодовала: что ж делать, если мой интеллект не столь реактивен и поворотлив – уж посочувствуй и снизойди! Но ждать, когда зерно прорастет, ему было скуч-

но и невтерпеж – он то и дело меня подхлестывал, не прятал своего раздражения. Я даже дивилась – другой человек!

И убедилась, что наша близость ничуть не сократила дистанции. Скорее даже наоборот. Мы и на общем ложе по-прежнему были учителем и ученицей, и тут продолжались его уроки. И если бы только в любви – но нет! – он даже здесь находил возможность выуживать самое точное слово.

Однажды я с показным смирением – но не без яда – про-изнесла:

– Спасибо вам, суровый наставник.

Он взвился. Всего в одно мгновение возлюбленный превратился в ментора.

– Для благодарности вам не мешало б найти не столь дежурный эпитет. «Суровый наставник»! Ничем не лучше «безумной страсти».

– А вы подскажите, – я закипала.

– По мне так он и вовсе не нужен.

– Чем вам эпитет так не мил?

– А он провоцирует вашу лень, вялость, готовность к общему месту! В нем – изначальная тяга к штампу. Раз навсегда зарубите себе на вашем высокомерном носике: коль скоро он так отчаянно нужен, необходима сугубая бдительность. Нет ничего серее, бескрасочней, пасмурней, нет ничего тоскливей, чем многократно звучавший эпитет. Он точно навеки приклеен к слову – всегда наготове, всегда под рукой. Сразу же предлагает себя, липнет к тебе, как помятая

баба, бесстыже, навязчиво, будто на ярмарке. Пуще заразы и больше сглаза бойтесь его всегдашней готовности. Он дешежит и он обесценивает, обесцвечивает любой предмет. Любое понятие, обозначение, к которому норовит прислониться. Уж если вы, в самом деле, не можете – по сирости – без него обойтись, ищите острое, необычное и ошарашивающее определение. Оно вас должно прошить, как игла, направленная в мозг прямым, как луч, ослепивший на миг зрачок. Чем неожиданней, невообразимей, тем оно действенней и верней. Поверьте мне, что слово – аскет, этакий одинокий путник, выпущенное без провожатого, ничем не подпертое, не конвоируемое, всегда работает эффективней, чем слово, дополненное побрякушкой.

– У вас с эпитетом личные счеты, – прервала я его монолог.

– Вы правы. Он – мой классовый враг. Сели за стол? Даете текст? Ну и отложите в сторонку свое вечно женственное перышко. И отбирайте слова не спеша. Пишите скупое, без всяких взвизгов. С той жесткостью, с которой так часто размазывали моих предшественников, этих восторженных лопухов.

Но женский мой опыт так и не смог помочь мне понять, как в нем уживаются его вулканические извержения с этой

столь нежной и щедрой лаской.

Зато и отдачи требовал той же, такой же полной, даже чрезмерной, как мне это порою казалось. На каждый свой зов, на каждое слово, на каждый заданный им вопрос. В особенности же нетерпеливо ждал он ответного знака любви.

Мгновенно, без всякого промедления.

Я стала звать его «Вынь да положи». Он злился, но все продолжалось как прежде.

16

Забавно, но давно уж почившие, порою забытые даже писатели в нем вызывали какой-то острый, какой-то болезненный интерес. Он то и дело к ним возвращался. Однажды я, помню, его спросила: завидует он античным авторам?

Он проворчал:

– Какого рожна?

Я усмехнулась:

– Куда ни кинь, им выпала большая удача – они оказались первопроходцами. И сами создавали словесность.

Волин сказал:

– Нет, не завидую. Едва ли не каждого из них ушибла «манна грандиоза». Сперва их героями были боги, люди казались им слишком малы для подвигов и великих дел. Первый достойный человек был тот, который заспорил с богами. Если уж кого невзлюбил, то хоть не братьев своих по разуму. «Я

ненавижу всех богов». Вот оно как – ни больше, ни меньше. Такая заносчивая ненависть дала ему законное право уворочивать у них огонь.

– А как же Гомер?

– Да был ли он? Слепой аэд спел наизусть космический эпос – и все записано. Уверен, что он был создан позднее. С тех пор и живем одними мифами.

Я покачала головой.

– Допрыгаетесь со своей меланхолией.

Он кротко вздохнул, развел руками:

– Все будет так, как карта ляжет. Нет никакого резона держаться.

17

Однажды, когда он забраковал вещицу, которую я писала с особым запалом и настроением, случилась очередная размовка.

Волин вздохнул:

– Напрасно дуетесь. Замысел ваш совсем неплох. Просто не угадали с жанром.

– Не было никакого гаданья, – я все еще ощущала обиду.

Он терпеливо пояснил:

– Имею в виду, что каждому времени, каждой частице его потока соответствует лишь ему присущая особая жанровая природа.

– Разве не мы выбираем жанр?

– Нет, это он выбирает нас. Знает, когда единственно верными оказываются трагедийные громы, когда, напротив, они неуместны. Не совпадают ни с персонажами, которым выпал этот период, ни попросту – с историческим климатом. Тут все решают калибр века, калибр событий, калибр людей.

– Каков же жанр у нашего времени? Очень любопытно узнать.

Волин помедлил. Потом усмехнулся:

– По мне – скорей всего, трагикомедия. Но если хорошо постараться, будем и далее так ретивы, возможно, предстоит трагифарс.

Я лишь вздохнула:

– Даже обидно.

– На что вы, прелесть моя, разобиделись?

– По-вашему, авторы – марионетки?

– Нисколько. Ибо в конечном счете все дело в уровне наших возможностей. Решает единственно – божий дар. Поэтому каждому стоит быть трезвым, помнить, что нужно блюсти дистанцию между собой и любимым героем.

Я вновь напряглась:

– Не очень-то ясно, что вы имеете в виду.

Волин ответил с той озабоченностью, которая всегда меня трогала.

– Я попытаюсь растолковать. Хотя это тонкая материя. В двадцатом веке жил Йохан Хейзинга. Был наблюдательный

господин. И видел ближних своих насквозь. Их склонности, слабости, всякие свойства. Он-то и произнес два слова: homo ludens – играющий человек. Впрочем точнее: Человек играющий. Невинная перемена мест, а между тем, насколько внушительней! Весомей. И помогает сразу понять: речь не про индивида – про общность. Мы заслужили это двусмысленное, но справедливое определение. Да, безусловно – взрослые люди. А вот же – продолжаем играть. Как в детстве.

– Что же мы – недоноски?

– Он нас ничуть не хотел унизить, – нахмурился Волин. – В конце концов, жизнь – игра, и в этой игре у нас – отведенные всем нам роли. Бывает, что они тяготят. Мы чувствуем себя уязвленными. Считаем, что роли эти навязаны. Судьбой, течением обстоятельств. Хотим из них выпрыгнуть и начать другую – любезную нам – игру. При этом не соображаясь с возможностями. Но это игра небезопасная. Порою жесткая и в особенности для нашего брата – литератора. Мы ведь тщеславные обезьянки. И хочется всем морочить головы, все-то доказывать *urbi et orbi* – городу, миру, каждому встречному, что ты и столь милый тебе персонаж, в общем и целом, один человек. Что вы, как сиамские близнецы, неотторжимы один от другого. Лестно, но все это – самообман.

Он грустно вздохнул:

– Напрасно так тужимся. День настает, становится ясно, что это не так, что ты заигрался. Ничуть вы не схожи, не станешь ты ровней написанному тобой удалцу. И вот несчаст-

ный Хемингуэй, однажды бесповоротно прозрев, снимает со стенки свое ружье и в клочья разносит собственный череп. Расплачивается за свой эффектный разретушированный ма-чизм.

А те, у кого кишка тонка, все-таки остаются жить. Вернее – доживать свою жизнь. Но это уже другие люди – погасшие, выжатые, истощенные. Они не умеют существовать без сочиненной ими легенды. И быть такими, какие есть. Им остается чадить и гаснуть.

Я изобразила улыбку:

– Мороз по коже. Грустная участь.

Волин кивнул.

– Куда уж грустней! Старайтесь не угодить в ловушку.

– Начали с жанра, а кончили крахом.

– Все связано. Потому и твержу: выбрали вы нелегкое дело. Помните: коготок увяз – и крышка. Назад пути не бывает.

– Спасибо. Не стоит переживать. Я только дамочка с педикюром и по стопам вашего мачо идти не намерена.

– Очень надеюсь. Пришлось бы вам взбираться на пик, на персональное Килиманджаро, потом сопоставить весь этот бал с адом в своей душе и рухнуть.

Он мне твердил, что жизнь литератора «совсем не изюм» и, как мне кажется, не слишком верил, что я готова к оби-

дам, которые неизбежны, к келейной жизни, к писательской каторге.

Когда работа моя не спорилась и я начинала хандрить и кукситься, он строго приводил меня в чувство.

– Барышня гневается на судьбу. Судьба усадила мамзель за стол и оторвала от макияжа. Примите искреннее сочувствие. Кой черт занес вас на эти галеры?

– Уж лучше посочувствуйте мне по более серьезному поводу. Судьба подсунула мне грубияна, к тому же законченного брюзгу.

Он только весело усмехался:

– Если у вас извращенный вкус, расплачивайтесь за свою порочность. Никто, кроме вас, не виноват. И вообще – уважайте старших.

– Все тот же волинский абсолютизм.

Он вызывающе соглашался:

– О, да. За Волиным это водится. Он – просвещенный абсолютист. Заметьте, дитя мое, – про-све-щен-ный.

Я норовила его куснуть:

– Непогрешимый, как римский папа.

Он веселился:

– Как московский.

Обычно на этом обмен уколами заканчивался. Я остывала. Он подытоживал:

– Парадиз. Черное море вошло в берега. Это сравнение не шокирует?

– Нет, я привыкла. Волинский стиль.

Он удовлетворенно кивал:

– Вот наконец оно прозвучало, это необъятное слово.

– И почему оно необъятное?

– Пожалуй, самый точный эпитет для столь многоуровневого понятия. «Стиль» – это слово разностороннее, разнонаправленное и разноликое.

19

После необходимой паузы, свидетельствовавшей, что я вернула должное равновесие духа и снова готова сесть за парту, я предлагала:

– Так расскажите более внятно о необъятном.

– Козьма Прутков был убежден, что его не объять. Можно, само собой, употребить не столь обязывающее определение. Не привлекающее внимания. Мы ведь привыкли к приоритету коммуносоветского бонтона – не выделяться, быть, как все. Откажемся от «необъятного» и предпочтем ему «многослойное». Скромно, съедобно, этаким гамбургер.

Однажды Горький с поэтом Скитальцем попали в тюрьму. Что-то они позволили себе явно лишнее, по мнению тогдашних властей. Дело было в начале прошлого века.

Отсидка у них была недолгой, не то неделя, не то декада. И тот и другой все понимали, общество следило, сочувствовало, всюду осуждало жестокость власти. Сиделось весело,

и Скиталец даже строчил о том оперетту.

Домашние Алексея Максимовича однажды ему принесли в передаче банку варенья – ну и досталось им на орехи от буревестника!

«При чем тут варенье?! – гневался Горький. – Надо же все-таки вам иметь хотя бы какое-то чувство стиля!»

Я лишь вздохнула:

– Наш буревестник реял так гордо, куда уж мне...

Волин возразил назидательно:

– Скромность – похвальная добродетель, но скромное искусство сомнительно. Стил – это ваша визитная карточка. Свидетельствует, что вы – наособицу. Недаром один неглупый философ отождествил его с человеком. А человек, как мы это знаем, – дремучий лес и чего в нем нет.

– Что можно видеть на вашем примере, – сказала я подчеркнуто кротко.

– Мерси, моя ядовитая прелесть. Вы не упустите своего. И все же, самые яркие формулы не абсолютны и не конечны. Ведь человек является в мир в какой-то назначенный ему день, а стил вырабатывается годами. Но согласимся – и человек не сразу становится человеком. Стоит лишь вспомнить, какими мы были, какими становимся – очень часто на финише лишь горько вздыхаем.

Возможно, что у каждого путника, а у писателя в первую очередь, есть все-таки особая цель – понять, наконец, и свою первосуть и некую общую первопричину. Но это мало кому

удается.

Позволю себе такую дерзость и недостаточную почтительность к немецкому гению, но повинюсь: конечный вывод, к которому Фауст приходит в конце своего пути, на мой взгляд, не бог весть какая мудрость. Прошу прощения, этакий лозунг, который торжественно возглашают под звуки труб и бой барабанов: «Хочешь свободы? Иди воюй». Любишь кататься – вози свои сани. Нос держат по ветру, порох – сухим.

Нет, слишком очевидные истины. Писательская стезя опасна. Чем дольше по ней бредешь, тем чаще – могилы неизвестных солдат.

Услышали? А теперь забудьте. Хотя и должен был это сказать.

За-будь-те. Нет ничего увлекательней и упоительней нашего дела. И зная все то, чем оно грозит, и то, что нас с вами подстерегает, вы каждой клеточкой ежеминутно должны ощущать, как вам повезло. Что для уродов таких, как мы, для схожих с нами шутов гороховых, для каторжников по собственной воле, для всех этих прокаженных и проклятых, помеченных бубновым тузом, на нашей своеобразной планете – одно прибежище: письменный стол. Не слишком спокойное и надежное, зато единственное. Аминь.

Все, что он говорил, и притягивало и, вместе с тем, заставляло поеживаться. Иной раз я ловила себя на странном и даже недобром чувстве. Не то досада, не то протест.

Однажды разыграл во мне некий бесенок, и я не сдержалась:

– Мне трудно понять, чего в вас больше, что тут за смесь? Необъяснимая меланхолия? Неутоленное честолюбие? Или избыточное актерство? Можете мне ответить? По правде? Без ваших художественных гипербол?

Волин буквально зашелся от ярости.

– Приехали. Нечем мне больше заняться. Оказывается, я перед нею устраиваю парад-алле! Нет, это мило! Я добросовестно выворачиваю свои потроха, хочу ей втемяшить то, что я понял, затратив на это не год и не два, пускаю, можно сказать, в распыл бесценное серое вещество, запасы коего не безграничны, а дама, видите ли, решила, что я перед ней пускаю хвост. Не будь я цивилизованным олухом, задал бы вам отменную трепку! Выпорол бы, не тратя слов. Напрасно покойный отец втолковывал, что бабы от доброго отношения буквально звереют – глупому сыну наука не впрок. Что ж – заслужил.

Я сухо сказала:

– Когда заткнетесь и охладитесь, придете в себя – тогда я

вам выскажу все, что думаю об этой истерике.

– Предвкушаю. Обидеть писателя – дело плевое. Все только и ждут удобного случая. Одна англичаночка навестила Ахматову. Вот ее впечатление и вынесенный ею вердикт: «Тягчайший случай нарциссизма».

Я покачала головой:

– Жестко. Но не решаюсь сказать, что это совсем уж безосновательно. Девушка не без яда, но зряча.

И сразу же пожалела о сказанном. Волин меня окинул долгим и словно изучающим взглядом. Потом неприязненно процедил:

– Женщина женщину судит безжалостно. Ни снисхождения, ни сочувствия. Покойная Анна Андреевна, не спорю, старательно лепила свой имидж. Но вы, мой ангел, не только дама приятная во всех отношениях. Вы еще труженица пера. Психологиня и сердцеведка. Вам можно бы принять во внимание ее историю и биографию. И то, что пропало, и то, что ей выпало. И ее петербургскую молодость, и ее ленинградскую зрелость. И несчастливое материнство, и все эти рухнувшие супружества. Объятия партии и правительства. И горькую полунищую старость. Тот образ королевы в изгнании, возможно, и был последней попыткой хоть как-то устоять, уцелеть. Такая иллюзия реванша за искалеченную судьбу.

Я чувствовала его правоту, но – странное дело! – тем все плотнее накапливалось во мне раздражение. Достаточно. Я

не могу позволить отчитывать себя, как девчонку. Ему уже мало того, что я покорно и смиренно молчу, когда он чихвостит мои огрехи. Теперь меня учат хорошим манерам. Еще немного, и я окончательно утрачу собственное лицо.

– Благодарю вас, – сказала я холодно. – Мало того, что вы тратите время на мою дамскую пачкотню, вы еще на себя взвалили неблагодарную задачу по воспитанию моей личности. Боюсь, что рискуете надорваться.

Размолвка продолжалась неделю. Мы часто цапались, но не ссорились. И вдруг извольте: на ровном месте, заспорив об изящной словесности. Когда поздней я пришла в себя, то начала наводить мосты. Помню, как мысленно я себя взгрела: ну и дуреха ты, моя умница. Давно бы тебе пора уняться, признать, наконец, свое поражение в этой войне за независимость. А заодно – пора повзрослеть. Понять, что твой выбор – твоя судьба.

Разумные мысли, благие намерения! Но нас угораздило – так и не знаю, к добру или нет, «остаться детьми до седых волос». Не помогли ни моя сметливость, ни его незаурядный ум – до зрелости так и не доросли. Взрослыми мы так и не стали.

21

Однажды с комической обреченностью он мне сказал:
– К тому, что случилось, следует отнестись со смирением.

Естественно, нелегко понять, что этот столь населенный мир не может тебе ничего предложить, кроме одной ершистой бабенки. Столько соблазнов, столько порхает всяких искусительных пташек! Мир наш – такая оранжерея! А ты срываешь какой-нибудь флокс и нюхай его потом всю жизнь! Молоду я был похитрей и не спешил определиться. Соображал, что во всяком выборе кроется грозное и роковое. Господи, спаси и помилуй. Такое перед тобой дефиле! Такой длинноногий парад соблазнов!

Я оборвала его монолог.

– Сочувствую. А теперь завершите эту свою кобелиную арию. Я ею досыта насладились. Могу угостить вас не менее горькой и столь же искренней ламентацией. Думаете, мне нечего вспомнить и не с кем сравнить такое сокровище?

Он тут же ощерился:

– Тявкните только! Это вам дорого обойдется.

После затянувшейся паузы вздохнул и удрученно пожаловался:

– Старею. Уходит страсть к переменам, к перемещениям в пространстве, и к авантюрам, и к адюльтерам. Довольствуешься – такой вот злокой.

– Поверьте, ничуть не бóльшая радость смотреть на пожухшего ходока. Сменим пластинку. На редкость унылый дуэт остепенившихся грешников.

Волин ничего не ответил. Я только дивилась: уже не юноша, а купанный во всех щелоках столь многоопытный госпо-

дин, к тому же автор, уже издавший свою персональную библиотеку – мог бы и с юмором отнестись к этой моей прозрачной игре. Не сомневаюсь, что он ее видел, да и к тому же отлично знал, что я не девочка и не барышня из старой книжки – теперь их нет. Подозреваю, и прежде не было. А вот поди ж ты! Терял и юмор, и опыт, и свой писательский взгляд. Тут же, как от чиркнувшей спички вспыхивал сумрачный огонек. Нет, я не могла ошибаться – мальчишеская ревнивая злость. Она меня и сердила, и радовала, случалось даже, что умиляла. Но больше всего – обескураживала. Решительно не вязалась ни с возрастом, ни с биографией, ни с профессией.

Когда-то он поделился со мною подслушанной еще в юности фразой. Как я поняла, прозвучала она при смутных и непростых обстоятельствах – он мне их так и не прояснил: «Нет зверя опаснее человека!».

Теперь я мысленно дополняла это безрадостное суждение: «И непонятнее – также нет!». Он никого не напоминал из прежних моих друзей и спутников. При всей притягательности было в нем нечто и потаенное, и неясное, иной раз мне думалось – даже болезненное. По всем статьям, в родимой словесности ему бы должен быть ближе всех Федор Михайлович, но ведь нет! Он мне признался, что Достоевский так и не стал его собеседником: «Всегда почитал, но не звал на помощь». Зная его достаточно близко, я не могла найти объяснений столь очевидному несоответствию.

Однажды не без яда спросила:

– Кто же ваш друг и утешитель?

Развел руками и повинулся:

– Козьма Прутков.

Я напряглась:

– Не достаиваете ответом?

Но Волин кротко вздохнул:

– Отнюдь. И в мыслях не было отшутиться. Помните, и Пушкин сетовал: коли найдет на вас меланхолия, выпить, конечно, не помешает, но стоит еще перечесть Бомарше. Снимет, как рукой.

Я подумала:

«Ну так избавь самого себя от всех своих вывихов и перепадов. То беспричинное веселье, то беспричинная тоска. Ничем хорошим это не кончится».

22

Чем я старше, тем мне ясней, что взрослость – уникальное свойство. Так и не случилось мне встретить истинно взрослого человека. За самой величественной осанистостью угадывалась все та же знакомая, та же обидная неуверенность. Мы только играем во взрослых людей, на деле мы до седых волос все те же переодетые дети.

И мне и Волину – так уж вышло – не удалось дорасти до зрелости. Мы не сумели распорядиться скупо отпущенными возможностями.

Прежде всего, не сразу мы поняли, что были осуждены жить вместе. И беспримерная милость судьбы, однажды толкнувшая нас друг к другу, нам показалась – и мне и ему – приятной встречей, совсем не грозившей обременительными обязанностями. Мы и подозревать не могли, что эти праздничные, дурманные, шампанские дни свяжут нас накрепко, намертво стянутым вечным узлом.

Но это была предопределенная и предначертанная судьба. Вдруг стало ясно, что некуда деться, не обойтись, не прожить друг без друга.

23

Недели переходили в месяцы, месяцы перетекали в годы, а годы строились в десятилетия. Однажды нам пришлось убедиться, что оба мы уже старые люди.

Но если я сравнительно мирно вышла в финал и приняла эту печальную реальность, как будничную смену сезонов, то для него этот переход в столь непривычное состояние стал слишком тягостным испытанием.

Серьезно ослабевшее зрение, все бóльшая необходимость в палке, провалы в памяти, старческий кашель при пробуждении, предшествовавший началу дня, – все вместе и порознь раздражало и выводило его из себя. Лишало покоя и равновесия. Он бесновался и бунтовал.

Когда я напоминала ему, что нужно держать себя в руках

и сознавать закономерность происходящих с ним перемен, он приходил в негодование.

– Как вы не можете осознать такой простой и понятной вещи, что люди изваяны или вылеплены из разной, совсем не схожей глины, что среди них попадаются те, кто был задуман, на их беду, Всевышним Озорником молодыми. И появляются экземпляры вроде меня. Поймите, я лошадь, которую выпустили на манеж. Такие кони не сходят с круга.

Я говорила:

– И кони старятся.

Он возражал:

– Не артисты цирка.

24

В тот черный, роковой его год наши беседы стали отрывистыми, и возникали без всякого повода, и неожиданно иссякали.

Порою, не объясняя, в чем дело, он резко обрывал диалог и озабоченно задумывался.

Потом неожиданно произносил нечто совсем не относящееся к предмету нашего разговора. Однажды сказал, что победа показывает то, что мы можем, но лишь поражение обнаруживает, чего мы стоим. И вновь погружался в свою неизменную, печально немотствующую думу.

Однажды, чтоб разрядить атмосферу, которая заметно

сгущалась во время этих перенасыщенных, словно пульсирующих пауз, я бросила:

– В церковь вам, что ли, сходить?

Он лишь вздохнул. И совсем не шутливо, скорей даже с горечью пробормотал:

– Нет, что-то боязно. Очень она смахивает на министерство.

И, помолчав, негромко добавил:

– Она должна быть миролюбива. Тиха, печальна и утешительна. Не окружать себя упырями, шагая с крестом наперевес.

25

Вы спрашиваете, насколько его притягивала и занимала та специфическая часть жизни, которую мы называем «политикой».

Насколько понятен мне ваш вопрос, настолько же непросто ответить.

Естественно, он вполне сознавал политизированность мира, даже и той сравнительно узкой, строго отцеженной среды, в которой он прожил зрелые годы. Но говорить он предпочитал о книгах и о своей работе, вернее, о том, успеет ли он благополучно ее закончить. Однажды мимоходом заметил, что на политической кухне чаще всего преуспевают люди без нравственных тормозов. Что независимо от побуждений

здесь преступаются все наши заповеди. И самые благие порывы претерпевают необратимые, почти ирреальные метаморфозы. Все повара на этой кухне имеют дело со слишком опасными и взрывчатыми ингредиентами – будь то определение зла, национальная исключительность, социалистическая зависть и социальная справедливость. Решающую роль тут играет наш генетический состав. Мы далеки от совершенства. И это наиболее мягкое, что можно сказать о нашем семени.

Что же касается писателей, которым по роду своей работы сложно отвлечься от этих игр, он полагал, что для них полезен и плодоносен чеховский опыт.

Когда по привычке я возразила, напомнила, что Антону Павловичу ни ум, ни трезвость, ни чувство дистанции не дали счастья, Волин вздохнул:

– Он был невезуч. И даже признание не принесло ему ни покоя, ни счастья в любви. Не дожил и до спокойной старости. А после смерти сопровождали какие-то пакостные гримасы. То гроб привезут в вагоне для устриц, то памятник возведут век спустя на месте общественного сортира. Впрочем, теперь ему все равно. Как говорится, ни жарко ни холодно.

Пожалуй, и он не знал покоя. Не мог, не умел смириться

с тем, что минуло, ушло его время. Ушли его стать и южная лихость – наука старости не далась. Все думал, что так же неутомим, что все по плечу, что дело в одном – необходимо лишь сильно хотеть.

Однажды, когда я попросила уняться, не отравлять себе жизни, а кстати, и пожалеть меня – уже не пойму, чего он хочет, он безнадежно махнул рукой:

– Много ль мне надо? Доброе слово.

Я вспыхнула:

– Да, это в вашем духе. Слово вам важнее всего. Но я совсем другого замеса. Цену имеет не слово, а дело.

Он еле заметно повел плечом:

– Каждому – свое, дорогая.

Я лишь гадала – в чем тут загвоздка? Неужто так много ему недодано? Его биография мне казалась на диво удавшейся и успешной. А он твердил, что готов обойтись без всяких даров и щедрот фортуны, без всех отличий и побрякушек. Но он не может садиться за стол, не может трудиться, не может думать, если не слышит ласковых слов. Он говорил мне, что тут же вянет и остро чувствует одинокость.

Однажды я фыркнула:

– Мимоза.

Он сухо, даже резко сказал:

– Я работага, грузчик и возчик, и вообще, я – черная кость. Особенно в сравнении с вами.

– Кто ж я, по-вашему?

– Вы, дорогая, этакое дворянское гнездышко. Маетесь со своим разночинцем.

Я неожиданно разозлилась:

– Господи, как вы мне осточертели! И угораздило же меня!

Волин удовлетворенно кивнул:

– То, что и требовалось доказать.

27

Когда дела совсем стали худы и жизнь с беспощадной стремительностью рвала все связывающие их нити, он окончательно замолчал. Казалось, что хочет себе ответить на точащее его сомнение. Внезапно пробурчал:

– Остолопы.

– О ком вы?

– О себе и о вас. Зачем валяли мы дурака? Раз уж случилась такая оказия, надо было нам не выпендриваться и не играть в свободных художников.

– И как надлежало нам поступить?

Он словно нехотя отозвался:

– Да попросту жить под одною крышей, не разлучаться ежевечерне. Сколько мы времени были врозь. Вот уж не хватило ума.

Не удержавшись, я согласилась:

– Что до ума – Господь пожадничал. Не ваша сильная сто-

рона.

Он попытался улыбнуться, но это ему не удалось. Потом чуть слышно пробормотал:

– Теперь уж поздно себя выравнивать. Ни починить, ни изменить.

И, поглядев в окно, где по улице быстро перемещались фигурки, едва различимые в темноте, чуть слышно проговорил:

– Забавно.

Я вопросительно посмотрела. Он нерешительно продолжил:

– Уже никому не приходит в голову назвать меня «молодым человеком из Ангулема», «юным Волиным», тем более Валея. Это осталось в другой моей жизни. Только стучит в ушах колотушка и кто-то грозно напоминает: «Прошел еще час отведенного срока».

Невольно я вздрогнула и, разозлившись не то на него, не то на себя, повысила голос:

– Что это вдруг?! Поживете! Самому надоест.

Он миролюбиво кивнул:

– Вы правы. Не так уж весело стать аттракционом и экспонатом. Хватит того, что стал графоманом.

Но по привычке каждое утро усаживался за письменный стол.

Мне нелегко, болезненно тяжело ответить на ваш последний вопрос: а был ли Волин в ладу с собою? Лукавить не стану – нет, никогда. Жизнь его, по всем статьям, выглядела вполне удавшейся, но ведь поди ж ты – казалось, однажды какое-то жало впилося в его душу и словно глодало ее и жгло. Счастливым человеком он не был.

На этом, пожалуй, остановлюсь. Ответы мои на ваши вопросы непозволительно разрослись. И вышло нечто несообразное, распухшее до непомерных объемов. Для эпитафии слишком подробно, для реквиема недостаточно скорбно. Не удалось мне ввести в берега нахлынувший поток ностальгии, к тому же и мой почтенный возраст настраивает на эти излишества. Старость – это болтливый сезон. Многоглагольность и неумеренность. Поэтому перехожу на код.

Как абсолютное большинство тех, кто себя посвятил писательству, и Волин начинал со стихов.

И как все прочие, он их забросил, тех же, кто так и не переболел этим возвышенным недугом, обычно называл «рифмоторцами», а их увлечение – «баловством».

Тем бóльшим было мое изумление, когда, копаясь в его бумагах, я обнаружила целый ворох спрятанных им зарифмованных строк. Понятно, что он совсем не хотел быть уличенным в постыдной страсти.

И все же, после долгих терзаний наедине с самой собой, я ныне решаюсь их привести. Когда мне случается их перечитывать, я сразу же вспоминаю ту смуту, которая некогда в нем поселилась и никогда его не оставляла.

Могу лишь вообразить, как мне крепко досталось бы за такую вольность. Но я беру этот грех на себя и, выбрав из хаотической груды этих созвучий несколько строф, я закруглю ими свой мартиролог.

* * *

Хоть судьба меня привечала,
Помню я, что твердил отец:
«Все имеет свое начало,
Все имеет и свой конец»...
Жизнь долгой была, счастливой,
По-отцовски был ласков Бог.
Жизнь выпала мне на диво,
Но всему наступает срок.

Одаряла она без счета,
Не ударила в грязь лицом.

И одна лишь теперь забота —
Не испортить ее концом.

* * *

Забудьте всех носорогов,
Встреченных на пути,
Не подводите итогов,
Продолжайте идти.
Не торопитесь сдаться,
Барахтайтесь что есть сил,
Успеете належаться
В какой-нибудь из могил.
Ни с кем не сводите счета,
Ни с недругом, ни с судьбой,
И помните: вашей работы
Не сдюжит никто другой.

* * *

Так неотступно звучат в висках две строчки, записанные
наискосок на густо исчерканном листочке — сама не пойму,
отчего столь остро они меня полоснули по сердцу:

«Выжал из жизни своей, что смог?

Ну и довольно с тебя, дружок».

30

«А если когда-нибудь в этой стране...»

Бедная женщина! Сколько пришлось ей и передумать и перечувствовать, перестрадать, чтобы нам оставить этот кровотокающий крик!

Даже не сразу поймешь – то ли молит, то ли грозит нам, то ли стыдит оставшихся еще жить на земле. Но у нее своя судьба, а у меня – совсем иная.

Что осталось написать напоследок – не о себе, о покойном Волине?

Рассказывать о самых жестоких и вымотавших его часах я не хочу. И вряд ли смогла бы.

Но не забуду, как неотрывно, как непонимающе вглядывалась в его лицо, наконец-то утратившее сжигавшее его беспокойство. Казалось, в его стеклянных зрачках мерцает какое-то новое знание. И так мне хотелось прочесть и понять эти неясные письма, этот последний волинский текст.

Но это желание было несбыточно. И я лишь с самоубийственной ясностью чувствовала, что все, чем богата, даже оставшиеся мне годы, отдам, чтоб хоть час, чтоб хоть полчас, еще раз побыть в его мастерской.

июнь – сентябрь 2015

Братья Ф.

Повесть

1. Автор

В третью палату перевели меня после утреннего обхода. Сопалатники проводили без слов, сочувственными печальными взглядами, иные отводили глаза. Слава у третьей палаты была дурная, о ней мрачно пошучивали: «Это палата для аристократов». Непонимающим новичкам объясняли: отсюда своими ногами не выходят, отсюда тебя выносят.

Но эти шутки не поощрялись, о третьей палате обычно помалкивали. Была она маленькая, рассчитанная не больше чем на двух доходяг.

Четвертая – в ней я провел больше месяца – была повместительней, в ней было восемь коек. И контингент был иным – ходячим. В четвертой палате кипели дискуссии, больные интересовались прессой и обсуждали последние новости. Они еще чувствовали себя связанными с теми счастливыми, которые жили в недостижимом, отторгнутом законном мире, жили, не думая о своих градусах, о состоянии своей

плоти, утром спешили к рабочему месту, вечером возвращались домой.

В четвертой палате судачили, спорили, приглядывались к своим соседям. Те, кто помалкивал, возбуждали либо почти-тельное внимание, либо неясную антипатию. Особый интерес привлекали истории фривольного свойства, не слишком приличные анекдоты и, прежде всего, дежурные сестры.

В ту пору я был не только болен, еще и опален, в моем настроении меньше всего хотелось болтать. Сдержанность эту, скорее всего, списали на возраст и на растерянность. Все прочие были люди пожившие, а я только-только перешагнул всего лишь первую четверть века, поэтому вызывал сочувствие. Возможно, что по этой причине и сестры были ко мне поласковей и повнимательней, чем к остальным.

В первые дни, еще не привыкнув к простейшей мысли, что прежняя жизнь осталась за невидимой гранью, я хорошо-хорился и бодрился, пытался внушить себе, что попал в этот зачумленный дом ненадолго, близкие поддались глупой панике, все это вздорный, нелепый сон, проснусь – наваждение исчезнет. Я не хочу вступать в эту армию подавленных из жизни людей. Я посмотрелся, как их избегают, стараются держаться в сторонке. И вот я сам среди них – отверженных, словно клейменных своим несчастьем.

2. Автор

Я был моложе, много моложе всех, кто лежал в четвертой палате. Возможно, этим и объяснялось внимание добросердечных сестер. От прочих больных оно не укрылось. Один из них, томный, широкобедрый, склонный к витиеватым периодам, чем отличался от всех других — люди здесь были немногоречивы, — однажды чуть ревниво сказал:

— Похоже, что вы хотите их сделать членами своего гарема.

«Члены гарема» были, бесспорно, сомнительным сочетанием слов, и я не преминул отозваться:

— А вы бы предпочли их увидеть гаремом своего члена?

Столь откровенная жеребятина в духе моей футбольной юности, уместная больше на стадионе, под брань на поле и на трибунах, имела в этом доме скорбей какой-то сумасшедший успех. Мои неулыбчивые соседи долго смеялись и долго допытывались у пышнобедрого златоуста о том, как он ублажал своих дам. Я опасался, что малый обидится, но, сколь ни странно, он был польщен. Я стал популярен в четвертой палате.

Но лавры пожинал я недолго. И вскоре обнаружил себя в зловещей третьей, а в ней давно уже никто не шутил, никто не смеялся. В третьей палате глухо немотствовали, готовясь к концу. За несколько месяцев, которые я провел в этом

склепе, он обновлялся неоднократно.

И вспышки первоначальной отваги сменились часами тоски и отчаянья. Я молча лежал, угрюмо разглядывая белые стены и потолки, словно надеялся обнаружить начертанные на них письма. Будто допытывался у них, за что на меня, не на другого, пал этот злобный выбор судеб, разом перечеркнувший все будущее.

Ибо я был вполне убежден, что жизнь кончена, даже если моя агония и растянется. Какая радость тащить на себе этот изнурительный горб, эту неподъемную кладь? От этой беды и в двадцатом веке не найдено ни щита, ни спасенья.

Мои диалоги с самим собой были издевательски-жестки. В первые московские годы я ощущал себя персонажем из приключенческого романа – я был перекормлен книгами с детства. Авантюрист из южного города явился в северную столицу, где нет у него ни кола, ни угла, чтоб в скором времени взять ее штурмом. Моей уверенности в себе не охладили ни первые заморозки, ни моя полулегальная жизнь, ни даже мои ночи на лестнице, где я надеялся как-то укрыться от слишком ревностных алыгвазилов.

Теперь надлежит отодрать от кожи всю эту книжную чешую.

3. Автор

Я стал москвичом не так уж давно. Столичная жизнь моя

сложилась и живописно, и нестандартно. Начало выглядело эффектно. То, что дается долгим трудом, было отпущено сразу и щедро. По молодости мне померещилось, что эти дары в порядке вещей, что по-другому и быть не может. Теперь я понял: так не бывает. За каждую удачу расплачиваешься.

Я был общителен и удачлив. За год, проведенный в Первопрестольной, словно оброс толпой знакомых. Многих теперь как ветром сдуло, другие сочувствовали на расстоянии. Дружеских связей не завелось, разве что с четою Рубецких.

Они были славные, теплые люди – и муж и жена: он, чуть мешковатый, плотный, но подвижный брюнет, с влажными живыми глазами, она – привлекательная и яркая, с еле заметной хромотой.

Однажды в приемные часы они пришли меня навестить. За время больничной моей юдоли то был едва ли не первый визит. Я уж привык, что в эти особые, даже заветные два часа, которых мои сопалатники ждут с таким нескрываемым нетерпением, приятели меня не тревожат. Ну и прекрасно – мне не хотелось предстать пред гостями в моем состоянии – подобная хворь никого не красит. Но вместе с тем, мне было невесело понять, что, в сущности, я забыт. Приход Рубецких меня обрадовал.

Они были сдержанны, деликатны. Старались реже упоминать и о моей умерщвленной пьесе, и о настигшей меня болезни. Задача нелегкая – обе беды были одна с другою связаны. Если б не эта несостоявшаяся премьера, разве бы я сю-

да угодил? И оказался бы в третьей палате, где жду своего последнего часа?

Эту коллизию усугубил наш государственный Левиафан, который своей неподъемной массой обрушился на мою шающую голову. Несколько месяцев вслед за ним неистовствовала сервильная пресса, пиная забывшегося отщепенца. Я не успел еще нарастить защитной брони, и моя реакция была непозволительно острой. Именно так объясняли врачи эту внезапную чахотку. Возможно, не столь прямолинейно – суть дела от этого не менялась.

Обдуманно подбирая слова, супруги Рубецкие сообщили, что по причине простуды жены моей они, испросив ее позволения, надумали нанести свой визит.

Не слишком приветливо я пробурчал, что был бы им рад, даже если б жена моя не подхватила бы где-то насморк и пребывала в полном ажуре. А в общем, я рад, что, пусть с опозданием, они решились меня навестить.

Рубецкий поначалу обиделся, потом, очевидно, приняв во внимание мои чрезвычайные обстоятельства, мягко сказал:

– Не пори чепухи. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь.

Я сказал:

– Самочувствие идеальное. Лежу в «предмогильнике».

– Ну и словцо!

– Какое уж есть. Этим словцом у нас называют мою палату.

Резкое слово их покорило. Мне же всего труднее далось

это «у нас». Что означало мою припоздавшую капитуляцию. Больница, носившая амбициозное, странное имя «Высокие горы», которую здоровые люди старались обходить стороной, стала мне домом – я добровольно отсек себя от прежнего мира.

Рубецкий заметил:

– Не стоит сгущать. Не падай духом. Все устаканится. И пьесу еще не одну напишешь.

Я проворчал:

– Провались эта пьеса. И вся драматургия в придачу. И о себе я тоже не парюсь. Жаль мне отца. И Лобанова жаль.

Нина проникновенно сказала:

– Послушай меня. Тебе сейчас тяжело. Поверь мне, поверь, я все понимаю. Но постарайся впустить в свою душу то, что хочу я тебе внушить: вернее всего тебе поможет смирение. Не сердись на меня.

Я раздраженно отозвался:

– Администрация хочет того же. Не зря же всякие холоуи подбрасывают ей параллели меж мною и Милованом Джиласом.

То был весьма известный в ту пору ответственный югославский деятель. У наших властей он числился грешником, едва ли не более радикальным, чем даже его патрон маршал Тито. В книге его о «новом классе», вступившем на путь перерождения, усматривали связь с моей пьесой.

Рубецкий крикнул и возразил:

– Нина, окстись. Спустишь на землю. Сидишь на своей надмирной возвышенности и призываешь к непротивлению. Все это девичий писк и вздор! Наоборот. Дважды и трижды – наоборот, и только так! Trotz alledem, скажу, как тевтоны. Он должен твердо стоять на своем. По-лютеровски. Jedem das Seine.

Сделав столь резкий переход от Лютера к общеизвестным словам, начертанным на воротах концлагеря, он попытался изобразить уверенность в моем исцелении.

Я видел: они удручены. Моим состоянием. Моей мрачностью. Моей неконтактностью. Было так ясно, что им сейчас со мной неуютно. Помявшись, сказали, что им приятно увериться, что я не раскис, просят меня держаться и впредь, убеждены, что я не сдамся.

Когда они, наконец, удалились, довольные каждый самим собой и недовольные друг другом, я, стыдно сказать, испытал облегчение.

В сущности, мне стоило быть более благодарным Рубецким, – меня не баловали визитами – но почему-то я был раздражен. В особенности советами Нины. И все же потом – не раз и не два задумывался над странным словом, которое она столь торжественно, почти молитвенно произнесла.

4. Автор

Смирение. Хотел бы я знать, что означает это понятие. Я

взрос на твердом и прочном грунте, заведомо исключавшем сомнения. Я знал, что следует уважать истинно верующих людей, но сам я и все, кто был мне знаком, жили, не ведая таинств и тайн. В библейских текстах меня волновало лишь то, что роднит их с миром поэзии, с ее непознаваемой магией. Любой человек обязан быть искренним, когда беседует с самим собою, а пишущий человек – тем более, или он должен бросить перо. Я знал: я таков, каков я есть.

Итак, меня призывают смириться. Согласен, тут есть свое безусловное рациональное зерно. Недаром же на этом понятии в далекие дни зародилось монашество. В моем обостренном хворью сознании возникла пестрая галерея невесть откуда взявшихся образов.

Роились бородатые отшельники с эпическими античными лицами, Эрмиты с сомкнутыми устами, мудрые Пимены – летописцы, аскеты, которым не было страшно остаться с собою наедине.

Много ль среди коллег-современников таких решительных добровольцев? Способных на многолетний постриг, которого требует настоящая, а не рептильная литература?

И разве ты сам готов к этой схеме? С твоим-то норовом, нетерпением, с таким небезопасным эзотерическим костерком, который жжет тебя с малолетства? Вместо того чтоб его затушить, только подбрасываешь в него хвороста.

Мысленно я представил себе письменный стол, который отныне заменит мне спорт, перемену мест, новых людей, по-

друг, кочевья... Остановись, не по Сеньке шапка.

Но все резоны и аргументы мне ничего не прояснили, ни от чего не уберегли.

Минуло много суровых лет, мне суждено было побывать еще во множестве переделок. Было немало пьес и больниц, было исписано много бумаги, хватало праздников и утрат. Утрат, разумеется, было больше.

Они не прибавили дарования, но научили смотреть внимательней и видеть не себя одного. Всматриваться в чужие судьбы.

Теперь уж не вспомнишь, с чего началось, как увлекла меня, как затянула эта история братьев Ф.

Сперва я задумался о старшем, потом о младшем, о той стране, в которой однажды они родились, которая вместе с ними менялась, которой они до конца служили.

Эти раздумья были отрывочны, хрупки, толкнутся, но не задержатся, не укоренятся в сознании, освобождают место другим.

И вот – через столько десятилетий – вернулись. На сей раз – всерьез и надолго. Чем дальше, тем больше меня волновало и то, как крепко-накрепко связаны, и то, как несхожи они меж собой.

5. Автор

В детстве отношения братьев обычно далеки от идил-

лии. В особенности если братья – погодки. Младший с досадой смотрит на старшего. Тому повезло появиться на свет раньше, он сознает свое первенство, и вот он одаривает тебя небрежным снисходительным взглядом, а может и вовсе проигнорировать. Когда бывает не в настроении, делает тебе замечания, когда благодушен, еще того хуже, он унижает тебя покровительством. И то и другое – невыносимо.

Но вот поди ж ты – этих двоих леший веревкой повязал – сразу же прочно срослись друг с дружкой, словно сиамские близнецы. Старший был ровен, ничем не подчеркивал доставшихся возрастных преимуществ и не спешил утвердить верховенство.

Разве одно только обращение, сопровождавшее детские игры, могло возбудить в младшем брате досаду. «Малыш». Но младший не возражал. К этому слову привык он сизмальства, старший его произносил с недетской нежностью – все дивились: откуда в мальчике это взрослое, даже отеческое чувство?

Они безусловно были не схожи. Старший – стремительный, склонный к действию и неожиданным поступкам, точно подобрал в себя жар и порох, отпущенный Югом им на двоих. Младшему вроде бы и не осталось выбора – надо было вырастить собственный, особый характер – неброский, сдержанный, основательный. И он, по всем статьям, преуспел – был не по возрасту рассудителен. Но так он лишь выглядел, суть была та же – стойкая, упрямая страсть.

Оба были отчетливо даровиты. Старший испытывал тягу к словесности, младшего влекло рисование. Обычно такая горячка проходит, люди, взрослея, предпочитают выбрать занятия понадежней. Но эти детские увлечения на сей раз не собирались уняться, остыть, охладиться, войти в берега. Напротив, стали делом их жизни. Возможно, этому поспособствовала и их семитская одержимость, и выплеснувшие ее наружу две бури – февральская и октябрьская, а дальше и годы Гражданской войны.

Вокруг тех обезумевших лет бурлят неукрошенные страсти. Они то смолкают, то оживают – истина все не дается в руки. Поныне не запеклась, не свернулась пролившаяся некогда кровь. Поныне правнуки побежденных, не укрощенные долгим веком, – кто на земле своих отцов, кто в дальней эмигрантской диаспоре – убеждены в правоте своих предков, по-прежнему те, кто относят себя к прямым наследникам победителей, – кто громче, кто глуше – волнуются, спорят, доказывают свою правоту.

Для братьев все было предельно ясно. С первого митинга, с первого дня. Невероятный семнадцатый год открыл собою новую эру. Он распахнул пред ними врата. Семнадцатый даровал свободу.

Как ослепительно это слово. Вообразим, что на этом свете есть с давних времен государство слов, что в нем кипят наши грешные страсти – слова, как люди, спорят за первенство, выстраивают свою иерархию – какое из них окажется

главным?

О, несомненно – слово «свобода». Власть его над умами и душами несокрушима и необъятна.

Стоит лишь вслушаться, как колокольно, как триумфально оно звучит. В нем точно бродит пьянящий хмель. Свобода. Праздничная мечта. Мощь, вдохновение, темперамент. Право же, если слова – фантомы, этот фантом пленительней всех.

Те, кто решат его приручить, назвать его человеческим именем, таким, какие дают циклонам, пусть окрестят его Клеопатрой, требующей, чтоб ей платили собственной жизнью за ночь любви.

6. Автор

Мышонок. Так младший его окрестил. Бесспорно, это шутовское прозвище возникло из-за фонетической близости с именем брата. Но не только. Хотелось, возможно, и неосознанно, немного себя уравнивать в правах. Дело ведь было не просто в том, кто первый появился на свете. Не год рождения, нет, та страсть, которая клекотала в старшем, определяла и все решения, и выбор действий, когда это требовалось. Она и делала его лидером.

Это не значит, что младший брат был изначально лишен амбиций. Он рано открыл в себе дар рисовальщика и вовсе не думал зарыть его в землю, был он упорен и трудолюбив.

Известны слова Александра Сергеевича о том, что поэзии необязательно быть умной дамой, – ему виднее, но сам-то анафемски был умен.

Старший из братьев не сомневался, что близкая ему сфера словесности милой наивности не допускает, – смолоду отличался напористым, цепким и озорным умом. Ум младшего был трезвым и ясным, под стать характеру – уравновешенным. Пожалуй, один дополнял другого.

Но одаренность не возвела незримой стены меж ними и миром – слишком они любили жизнь. Тем более оба на редкость здраво оценивали свои возможности и сильные и слабые стороны.

Такая зрелость в столь юном возрасте сама по себе бесценный дар, но главной удачей этих двоих было их совпадение с временем. Они совпали с воздухом века, с его направлением, даже – с ритмом.

Их молодой двадцатый век с первых же своих дней взорвал неторопливую русскую жизнь. И русская жизнь приняла вызов, стряхнула долгое оцепенение, словно решила на этот раз осуществить мечту поэта – стать птицей-тройкой, настичь историю, вернуть, наконец, ей свой давний долг.

Возможно, у многих моих друзей, вполне отрихтованных новым столетием, столь романтический энтузиазм вызовет грустную улыбку. Их можно понять – припоздавшая мудрость нам слишком дорого обошлась. Однако можно понять и тех, кому сакральная мифология поныне кружит седые го-

ЛОВЫ.

Вдруг оживает в озябшей памяти тесная комната, тесный круг, еще совсем молодой Булат впервые поет нам о той далекой, о той единственной, той Гражданской, когда наши деды вступали в жизнь, согласно думали и дышали. И не было ни слов-симулякров, ни этих увертливых телодвижений в попытках отстоять свою дурость и оправдать поклонение идолам.

А оба брата – старший и младший – были счастливыми людьми. Им выпало вовремя родиться, точно понять свое назначение, не обмануть своих надежд.

Они и сами порой дивились. Старший однажды негромко сказал:

– Малыш, а ведь нам с тобой повезло.

– И в чем же это?

– А вот подумай. Словесность – это дремучий лес, и живопись твоя не шоссе. Будь мы с тобой чуток поглупей и позаносчивей, мы бы сдулись.

– Ты полагаешь?

– Я убежден. Представь себе двух юных павлинов, они напыщенны, высокомерны и распускают свои хвосты. Я уверяю себя, что рожден, чтоб сотворить какой-нибудь эпос, нынешнюю «Войну и мир». А ты грунтуешь громадный холст и лучшие, румяные годы тратишь на некий мощный сюжет – «Освобождение труда» или «Восстание народа». Дали бы мы с тобою маху.

– Ты прав, Мышонок.

– О, как я прав. Еще не раз ты в том убедишься. Мы сделали с тобой то, что надо, и выбрали то, что нам по мерке. У каждого в этом мире свой жанр, у каждого свое амплуа.

Младший покачал головой.

– Мы не актеры.

– А ты неправ. В отличие от старшего брата. И некоего господина Шекспира. Актеры, малыш. И у нас с тобою, как и у прочих млекопитающих, есть предназначенные нам роли.

7. Младший

Сегодня, когда я достиг рубежа, страшно подумать, почти столетия, я чувствую властную потребность взять в руку не привычную кисточку, а неуступчивое перо, которым мой брат владел так лихо.

Коль скоро странная прихоть судьбы мне подарила столь длинный век, вместивший в себя не одну мою такую бесконечную жизнь – еще и недолгую жизнь брата, я просто обязан оставить людям все то, что я запомнил о нем.

Я сознаю, что эта работа мне не по силам, не по возможностям. Слишком тут много таких деталей, в которых прячется сатана. О них по-прежнему лучше помалкивать. Я знаю много, чрезмерно много, и это знание непосильно. Все же сажусь за письменный стол.

Мне могут сказать: написано столько, что книг уже никто

не читает. Ну что же, пусть будет еще одна книга. Мышонка уж нет, но я еще жив и должен сохранить для людей память о моем старшем брате.

Мне надо воскресить не события, в которых он побывал, поучаствовал, не те, которые он придумывал и – больше того – претворил в реальность. Их много, так много, всех не исчислишь. Нет, мне хотелось бы побеседовать о нем самом, о том, что в нем жило, что колотилось в его голове и жгло его бессонную душу. Сделало его тем человеком, каким он запомнился и вошел в реальную жизнь своих сограждан. О том, что однажды вдруг оборвало этот стремительный полет и что приблизило его смерть.

Знал ли он сам, что ввязался в рискованную, очень опасную игру? А разве любой из нас не пребывал на краешке всасывающей воронки? Все мы, уцелевшие люди, которым неведомо как удалось договориться с двадцатым веком, склонны себя переоценивать. Легче заканчивать марафон, думая, что нам удалось ловко перехитрить свое время. Стольких дерзнувших принять его вызов оно укротило и унесло, а мы изловчились и живы-здоровы. Разглядывайте нас с уважением.

Все это, разумеется, вздор. Нам просто повезло в лотерее – вытащили счастливый билет.

И я отчетливо сознаю – мой старший брат был не только отважней, не только значительно одаренней – он был гораздо умней меня. Но это был неистовый ум, несовместимый

с благоразумием, с увертливым самоограничением, которые сохраняют жизнь.

Похоже, что у такого ума другой чекан и другой калибр. И жребий в России – тоже другой.

8. Младший

Он сызмальства мне втолковал, как плоско все то, что выглядит многозначительным.

Помню, как сдержанно он отозвался о нашем знакомом, весьма дорожившем своей репутацией мудреца:

– Глубокомысленный человек.

После чего я уже не мог воспринимать златоуста серьезно.

Тем более я был удивлен, когда однажды он мне сказал с какой-то торжественной доверительностью:

– А нам с тобой, Малыш, повезло.

Не сразу уловив перемену в его интонации, я отшутился:

– Ты абсолютно в этом уверен?

Он терпеливо мне разъяснил, что говорит вполне серьезно.

– Сам посуди, кто были мы, в сущности, когда в империи произошло это великое землетрясение? Ты – отрок, еще не забывший спазмы едва пробудившегося пола, а я обладал каким-то весом и опытом только в твоих глазах. При этом оба мы были с норовом, обоим не сиделось на месте. И что бы мы делали в этом мире с его вальяжной, неспешной посту-

пью, с порядком, раз навсегда заведенным, и с городовым на углу? Если бы даже и удалось где-то найти свою скромную нишу, нас все равно бы всегда точило сознание чужести и второсортности. Нас с тобой спас семнадцатый год.

За годы, прожитые с ним рядом, я уж привык к тому, что Мышонок ни разу не оказался неправ, но время на дворе было грозное, о чем я осторожно напомнил.

Он усмехнулся, потом сказал:

– Не первая на волка зима. Малыш, мы очень везучие люди.

Я согласился. Все так и есть... Зря он не скажет. Значит – прорвемся.

9. Младший

Он еще с юности предрекал, что мы с ним оседлаем фортуна. В сущности, так оно и случилось. Мы убеждались неоднократно, что стали и впрямь весьма популярны.

Это заносчивое слово я отнесу, скорее, к себе. Мои политические карикатуры, как он предвидел, стали востребованными. Пожалуй, я обрел популярность. Если же речь вести о нем, такое определение бледно – он был поистине знаменит. И я бы не рискнул сопоставить его невероятную славу не только с известностью коллег, успешно трудившихся в периодике. Пожалуй, не выдержали бы сравнения весьма мастиные литераторы. Лишь Горький остался бы недосыгаем. Но

ведь и Горький увлекся братом!

Впрочем, «увлекся» – вялое слово. Влюбился! Как мог только он один, лишь приумноживший с детских лет свое молитвенно-удивленное отношение к недюжинным людям, особенно к тем, кто служит слову.

Были периоды, когда Горький попросту не расставался с братом. Им нравилось быть вместе и рядом. Казалось, что оба они подпитывают один другого своими замыслами. Они заряжали десятки людей своим неиссякаемым порохом. И замыслы их не оставались прекрасными литературными снами – они обретали живую плоть.

Вспомните хотя бы «День мира». Они задумали проследить, чем был заполнен и как прошел один календарный день планеты.

И что же?! Им оказалась по силам и это фаустово желание стреножить время, остановить на сей раз не мгновение – день! Они это сделали. Запечатлели двенадцать часов сердцебиения нашего невероятного шара. И это был лишь один из их подвигов.

10. Младший

Женщины самозабвенно и преданно любили моего дерзкого брата. Близости с ним они добивались, даже догадываясь втайне, что с этой звонкой и буйной кровью, с этой потребностью в новых лицах и в новых бурях не совладаешь –

придется трудно.

Он не был всеяден и неразборчив, скорее уступчив и отзывчив. Думаю, он и в любовь вносил эту врожденную потребность умножить запас своих впечатлений. А попросту – свой творческий пламень.

В любовной битве он оставался все тем же автором-созидателем. В нем возникал тот особый жар, который предшествует встрече с сюжетом. Женщинам вряд ли было уютно, но скучно не было никогда.

При этом он вовсе не походил на киногероя – был ловок и складен, но невысок, а по нынешним меркам, возможно, даже и низкоросл. Волнистая черная шевелюра, неправильные черты лица, но завораживающе притягательный, пронзительный, все вбирающий взгляд. А уж когда он вступал в беседу... Тут уж и вовсе не было равных. Мужчины завидовали и злились, им можно было лишь посочувствовать – нечасто встречал я на этом свете самодостаточных мудрецов, способных без судорог самолюбия мириться с чьим-либо превосходством.

Первый его брак восхитил и удивил меня одновременно. Хотя я внутренне был готов, что выбор его обычным не будет. Женщина была старше его, умелая в искусстве любви, пленительно обожженная опытом. К тому же заметная актриса, владевшая, при этом, пером. Эффектная внешность, нелегкий нрав, приперченный климатом театра. А попросту – настоящая женщина.

Он добивался ее упрямо. Со всей одержимостью и горячей своих еще мальчишеских лет. Добился – он всегда добивался того, что хотел, того, что задумал, тем более когда жарко чувствовал. Он приучил себя не уступать. Ни своим недругам, ни соперникам, ни затруднительным обстоятельствам.

Втайне завидуя ему, я попытался не выходить из роли бесстрастного созерцателя.

– Сдается, Мышонок, тебя потянуло на терпкий запах дамской греховности. Не поскользнись на тонком льду.

Брат только покачал головой.

– Малыш, на этот раз ты ошибся, пусть мудр, аки змий, не по возрасту.

И, не тая счастливой улыбки, он дал мне бой на моей территории.

– Поверь мне, хоть это и странно звучит, я чувствую себя старше Веры. Она, при всем своем женском опыте, в сущности, большое дитя. Спрячь свою умную улыбку и вникни в то, что я говорю. Иначе она бы и не смогла стать в самом деле хорошей актрисой и быть естественной на подмостках. Суть в том, что ей свойственно простодушие, которое ей так помогает сделать придуманный мир реальным и жить по законам этого мира. Где простодушие, Малыш, которого тебе так не хватает, там и фантазия, там и творчество, а наша бескрайняя приземленность преобразуется странным образом в нечто крылатое и цветное.

Я произнес, разведя руками:

– Сдаюсь. Даже первая любовь не привела тебя к слепоте, она твое зрение лишь обострила, а ум вознесла на уровень мудрости. Ты видишь то, что другим не дано, и прозреваешь, что им недоступно. Поэтому я больше не дергаюсь. Уверен, однажды настанет день, и ты почувствуешь трепет наития – засядешь писать серьезную книгу.

Помедлив, он покачал головой, не слишком весело проговорил:

– Нет. Этого со мной не случится. Я сознаю свои возможности. Смирись, Малыш, твой брат – репортер, он не напишет «Войны и мира». Мой род войск – легкая кавалерия. Не вижу в этом своей беды или вины пред человечеством. Прошу написать на моей могиле: «Прохожий, здесь покоится автор, по счастью, ненаписанных книг».

Эти слова меня почему-то болезненно и тревожно царапнули. Я недовольно пробормотал:

– Долго работал над эпитафией?

– Изрядно. Дело это нелегкое.

– Умнее было бы не шутить об этих ненаписанных книгах, а написать их...

Он усмехнулся и твердо сказал:

– Исключено. Но даже если б я попытался, оставил бы незавершенные рукописи.

– Остановись, я пролью слезу.

Брат назидательно произнес:

– И зря. Ибо рукопись уникальна, а книга – серийна. Этот нюанс в известной мере ее обесценивает.

11. Младший

В те годы браки легко заключались и так же стремительно распадались. Но этот союз, к моему удивлению, рухнул не сразу – он продолжался несколько драматических лет.

То был темпераментный поединок, опасный и взрывчатый эксперимент. Когда через несколько лет они оба устали от страсти и друг от друга и предпочли расстаться мирно, решение далось им непросто. Брат еще долго ее вспоминал, но все же понял, что он уцелел, что он еще молод и любопытен и что открыт для новых сюжетов.

Мне многие годы казалось, что он не создан для дома, для очага. Слишком любил перемену мест, любил кочевья и словно стремился умножить запас своих впечатлений. Но я ошибся. Все изменилось в тот день, когда он встретил Марию. Она ему стала не только возлюбленной – другом, сподвижницей. И женой, прошедшей с ним его торный путь и разделившей его судьбу.

12. Автор

Детство, которое мне досталось, помнить приятно – то бы-

ло звучное, оглушенное горнами и барабанами, артековское пионерское детство.

Известная черноморская здравница тогда состояла из трех лагерей – «Верхнего», «Нижнего» и «Суук-Су».

В тридцатые годы минувшего века уже сложилась своя иерархия, сменившая былую, низвергнутую.

Мало-помалу она утвердила свои ритуалы, свои обычаи, свою геральдику, свой язык. Образовалась своя отцеженная, тщательно выстроенная элита.

Это строительство начиналось с первых же сознательных лет.

Возникла густая сеть лагерей, увенчанная знаменитым «Артеком». В нем отдыхала и в то же время выращивалась еще одна – детская школьная элита. В «Артеке» набираются сил самые достойные, лучшие, завоевавшие эту честь. Так нам старательно напоминали.

Все повторяли не раз и не два сакральное имя – Павлик Морозов. Уральский пионер обличил отца и деда в потворстве врагу, за что расплатился собственной жизнью. Эта возвышенная легенда не выдержала испытания временем, однако в ту пору никто не посмел подвергнуть сомнению ее подлинность.

Но в то тревожное жаркое лето, казалось, у каждого на устах было прекрасное слово «Испания». Оно заставляло наши сердца биться с особой недетской силой.

Прошло уже много десятилетий, а я, столько видевший,

столько забывший, его повторяю все с той же тоской.

В те дни в Испанию устремились взрослые дети из стольких стран! И все они верили – им по силам остановить мировое зло.

Должно быть, моему поколению уже не пришлось испытать столь беспримесного, не тронутого и тенью сомнения, ничем не замутненного горя.

Мне скажут, что все это грусть о мифах, о том, что когда-то вызвало к жизни наивные рифмы светловской «Гренады».

Что ж, пусть даже так, но было же, было! И эта саднящая легенда, столь уязвимая для сознания, так и останется жить в душе.

...Шел крымский август тридцать седьмого.

13. Младший

Он с юности меня приучил к своим стремительным перемещениям, но все же, не скрою, когда он сказал, что едет в Испанию, я помрачнел. И, не сдержавшись, сердито буркнул:

– Им овладело беспокойство.

Он согласился.

– Оно. Что делать?

– Не лезь без нужды, куда не просят, – я растревожился не на шутку, но мне показалось, что обстоятельства требуют

проявить грубоватость.

Эту нехитрую игру он разгадал и прокомментировал:

– Они были мужественными людьми, не признающими сантиментов.

Я и тревожился и завидовал. Надо понять, чем была Испания для тех, кто жил в то смутное время. А я к тому же не обладаю его умом и его пером. Другое время, другие песни, да мы и сами – другие люди. Возможно, в этом и состоит мое преимущество перед ним – мне выпало его пережить.

Все чаще я чувствую раздражение от устоявшейся репутации разумного, взвешивающего слова, рационального человека. Все чаще мне кажется: эти неспешность, умеренность в словах и поступках свидетельствуют не столько о разуме, сколько о робкой и слабой душе.

Вдруг вспомнилось, как совсем недавно один почтительный собеседник назвал меня истинным мудрецом. Он безусловно хотел подчеркнуть свое уважение, а меж тем заставил меня испытать досаду. Я оборвал его на полуслове.

– Не угадали, – сказал я с усмешкой. – Хотя такому старому хрену по штату, по чину, да и по возрасту положена известная зрелость, но я исключение из правила. Не то что пылок и юн душой, а просто все еще не пойму многих вещей на этом свете.

Мой гость смущенно пролепетал, что скромность в столь почтенные годы сама по себе есть признак мудрости, но я с ним снова не согласился.

– Нет, – произнес я с какой-то новой, мне не присущей категоричностью. – Мой старший брат совсем не преклонным, сравнительно молодым человеком все понял, что нужно было понять. Все объясняется очень просто. Когда природа распределяла отпущенный ею на нас обоих интеллектуальный ресурс, на мне, как бывает, она отдохнула. Очень прошу вас не считать слова мои запоздалым кокетством. Слишком я стар для подобных игр.

14. Младший

Мы склонны были себя считать людьми героического века. Теперь, когда этот век закончился, а сам я прожил больше ста лет, я просто обязан преодолеть себя и обнаружить способность к выводам. Отважусь на жесткое признание: то было несчастное поколение.

Эти слова – не отречение от тех, с кем рядом я жил так долго. Одних я люблю, другим сострадаю, о третьих просто хотел бы забыть.

Несчастье само по себе не позор, но не тогда, когда побуждает к приспособленчеству и попустительству.

Мы были несчастным поколением, которое, вопреки очевидности, долго считало себя счастливым. Поныне мне трудно уразуметь, как объяснить этот самогипноз.

Я не владею пером, как мой брат, не наделен и его умом. Теперь-то я знаю, что он все видел зорче и глубже, но даже

и мне совсем не все про это сказал.

Думаю, что он по привычке меня подсознательно оберегал. Что было под силу его душе, возможно, стало бы для меня невыносимой, непомерной тяжестью.

Не раз и не два приходилось слышать, впоследствии — и читать, что брату был свойствен некоторый цинизм. Упоминали о нем не только завистники, но даже и те, кто был к нему вполне расположен, был среди них и Хемингуэй. В книге, в которой он его вывел под переименованной фамилией, он и любит им и все же приписывает ему это свойство.

Но я-то знаю, что это маска. Брат ставил не раз свою жизнь на кон. Циничные люди предпочитают воздерживаться от этого риска. И берегут свою бrenную плоть.

Я полагаю, что истина проще. Он понял значительно раньше все то, что многие осилили позже. И эта обретенная ясность дала ему внутреннюю свободу. Людям, воспринимавшим мир в границах обязательных формул, эта свобода казалась вызовом.

Их целомудренное сознание, возможно, продлило их век и позволило закончить его в своей постели.

Но тот, кто жил в перевернутом мире и сохранял независимый ум, существовал в присутствии смерти, трудился с нею наперегонки.

Я не хочу казаться лучше, мудрее, благороднее тех, кого мне выпало пережить. Я знаю, что есть много людей, которые склонны меня считать благополучным, самодовольным

счастливым, любимцем фортуны. Для этого у них есть основания.

Не стану оправдываться. Я расплачиваюсь за то, что природа во всех отношениях щедрей одарила старшего брата.

Сегодня мне ясно: мой здравый смысл, а еще больше моя ограниченность, – мне помогли примениться к времени, к стране и к среде, в которой я жил. Поэтому я перешагнул из страшного двадцатого века в этот, сменивший его двадцать первый.

Быть может, и он чреват потрясениями, быть может, еще превзойдет предшественника. Но этого я уже не увижу.

15. Младший

С такой отчетливостью я помню тот день на Белорусском вокзале, когда он вернулся в Москву из Испании. Помню, как поезд из Негорелого, пыхтя, отдуваясь, как пешеход, остановился у дебаркадера.

Брат появился с привычной стремительностью и резко затормозил на подножке – не ждал увидеть такую толпу. И вряд ли он мог себе представить, с каким восторгом встречают на родине страницы «Испанского дневника». Но сразу насмешливая улыбка вернула его лицу все то же знакомое издавна выражение.

– Ребята, – сказал он, – вы что-то напутали. Я же – не с конкурса пианистов.

Свидание пришлось отложить, с вокзала он поехал в редакцию. Встретились мы на другой уже день, а с глазу на глаз остались вечером.

– Куча вопросов? – он усмехнулся. – Ну что же, спрашивай. Я готов.

– В сущности, два, – сказал я, – и первый тебе, само собою, понятен. Второй, возможно, тебя рассмешит.

– С него и начни. Пока я еще свеж и в силах воспринимать твой юмор.

– Не смейся. Он будет о Хемингуэе. Ты знаешь, как он меня занимает. А первый, понятно, о главной цели твоей затянувшейся командировки. Мышонок, ты стал властителем дум.

Он грустно вздохнул.

– Благодарю. Прижизненное признание – редкость. И тем дороже. Тебе я отвечу, зачем я взялся за эту книгу вместо того, чтобы ограничиться необходимыми корреспонденциями. Прежде всего чтоб иметь возможность сказать: «Не спрашивайте меня. Читайте мой „Испанский дневник“. Все, что хотелось мне поведать, вы там найдете. И не взыщите – мне легче общаться при помощи букв, записанных карандашом или перышком. Условимся: конференса не будет. Не тот сюжет и не тот предмет. Я с детства избегаю патетики, но слишком он сильно кровоточит. Читайте „Дневник“. Полезное чтение для тех, кого догадал Господь родиться с душой и умом, – простите за то, что я тревожу тень классика и де-

лаю это не слишком точно. Имею в виду не только родину. Попутно замечу: испанский бардак ничуть не уступает отечественному.

Мне было ясно, что он беседует не столько со мною, сколько с собой. Будто поняв, о чем я думаю, он улыбнулся, махнул рукой:

– Планета наша несовершенна. Скроена наспех. Оно и видно. Семь дней творенья. Какая спешка!

– Ты прав, Мышонок.

– Малыш, я устал от этой вечной своей правоты. И если честно – адски устал. Как все перезревшие вундеркинды. Но хватит толковать обо мне. Ты спрашивал о Хемингуэе. Уважу твой девичий интерес. Подробностей от меня не жди. Слишком поверхностное знакомство. Тем более не удалось с ним остаться, как говорится, с глазу на глаз. Итак – лапидарно: по виду – неряшлив, эффектно нетрезв, склонен к актерству. Такая немногословная мужественность. По сути – ну, прежде всего не прост. Что, разумеется, естественно – с какой это стати он должен быть прост? Цену себе отлично знает. К тому же скроен и сшит на зависть. Из тех, кто готов к долгой осаде и не довольствуется малым.

Эти последние слова мне почему-то показались нагруженными неочевидным смыслом.

– Общение со знаменитым автором, похоже, на тебя повлияло.

– И чем же?

– Тебя не сразу поймешь. Вторые планы, скрытые смыслы. Мышонок, что ты имеешь в виду под «долгой осадой»?

– Долгую жизнь.

Сам не пойму, отчего я поежился. И, чтоб вернуть себе равновесие, спросил его как можно небрежней:

– Надеюсь, что ты готов к ней не меньше. Знаешь, Мышонок, пожалуй, я двинусь. Поверь, тебе следует отдохнуть. Завтра ты будешь совсем другой. Свежий и бодрый, как октябренек.

Он помолчал, потом усмехнулся:

– Будем надеяться на лучшее.

Эти слова и прежде всего та горечь, которую в них я слышал, меня изумили – уж слишком привык к его постоянной мальчишеской лихости, к его готовности к поединку.

– Похоже, что ты устал с дороги.

– Похоже. Но не только с дороги. Дивно устроен сей мир, малыш. Куда ни приедешь – везде убивают. Конечный вывод земной нашей мудрости вовсе не фаустовская формула: лишь тот достоин свободы и жизни... ну и так далее, очень достойная и благородная декларация, но в нашем веке лозунг иной: старайтесь убить как можно больше. Не драма – бабы других нарожают.

Я удрученно пробормотал:

– Трудно дались тебе Пиренеи.

– Дело не в одних Пиренеях. Хотя Пиренеи – особый край. Да и особая там война. Смешались в ней и разные люди, и

разные страсти, и разные цели. Интербригада, в которую съехалось столько людей, весьма многолика. Профессиональные идеалисты – не профессиональные воины. Исходят словесными фейерверками, клянутся в верности Дон Кихоту, не понимая, что этой стране нужны не странствующие рыцари, тем более печального образа, а люди, умеющие сражаться. Передо мною прошло слишком много разочарованных энтузиастов и мало терпеливых солдат, готовых к поту, воню и грязи. Знаешь, Малыш, сколь это ни грустно, книги совсем не всегда соотносятся с реальным миром, с реальной жизнью. А также с намерениями их авторов. Самые великие книги.

Помню, что я не удержался, задал ему ненужный вопрос:
– Что будет с Испанией?

Он отозвался резко и коротко:

– Дело – дрянь.

Я молча смотрел на его родное, переменившееся лицо. И понял: быть может, впервые я вижу его растерянные глаза. Мне захотелось поднять его дух.

– Но как тебя встретило наше отечество! Знаешь, Мышон, я возгордился.

Он усмехнулся.

– Пышно и звонко. Как будто я вернулся с победой.

– А так и есть. «Испанский дневник» – твоя победа. Его читают решительно все. Всяк сущий язык тебя назовет.

Но он пропустил мимо ушей эти приятные слова, не раз-

делив моего настроения и озабоченно произнес:

– Сегодня на Белорусском вокзале я вдруг увидел перед собою множество незнакомых лиц. Что, разумеется, греет душу. Но сколько не увидел знакомых. Можешь ты мне, наконец, объяснить, что происходит в родном пространстве?

16. Младший

Впервые не я его – он меня спрашивал. Впервые не я – он ждал ответа. Но что же я мог ему сказать?

Он первым прервал тяжелую паузу. И, глядя в окно, за которым сгустились московские сумерки, проговорил:

– А все-таки по странным законам устроена жизнь на этой планете. Тот, кто убил одного, – преступник. Всем это понятно и ясно. А тот, кто истребит сотни тысяч, – лидер, герой и сверхчеловек. Так было в нашем античном младенчестве, так – в нашем зрелом двадцатом веке. Есть все же непреходящие ценности на этой загадочной планете.

И с грустным вздохом махнул рукой.

Сегодня мне нетрудно признаться в своей толстокожести и ограниченности. Мое хваленое благоразумие, должно быть, превосходная почва для этих незаменимых свойств, так облегчающих существование. Похоже, они мне и обеспечили входной билет в двадцать первый век. Печальная плата за долголетие.

И нынче улыбка фортуны мне кажется кривой издеватель-

ской гримасой.

Наверно, и в мой последний час мне вспомнится тот дьявольский вечер, когда впервые я различил тревожный звонок над самым ухом. До этого дня, неведомо как мне удавалось глушить предчувствия, справляться с нараставшей тревогой. Мой здравый смысл, которым я с юности – по недоразвитости – гордился, и вся моя грешная, брeнная плоть, все вместе, упрямо сопротивлялись обрушившейся на нас очевидности – всему, что вопило с газетных полос, несло из эфира, шуршало в слухах. И сам не пойму, как мне удалось увериться в том, что и брат, и я, мы оба надежно защищены. Он – своим именем, я – его славой. Не то по-мальчишески отмахнулся, не то запретил себе призадуматься, вспомнить о том, что были и более громкие, звучные имена, более славные биографии. Что все они стерты и перемолоты, прокляты и канули в бездну.

17. Младший

Это свидание затянулось. Отец отечества не поскупился, отвел моему старшему брату немалую часть бесценного времени. Встреча их длилась едва ли не дольше, чем все прогремевшие аудиенции с корреспондентами, с интервьюерами, с другими известными собеседниками. Были нарушены все установленные канонизированные регламенты.

Лишь человек, который и сам жил в той Москве, разбе-

рется в чувствах, наполнивших мое ожидание. Все разом – и душевный подъем, и почему-то скребущую сердце необъяснимую тревогу, и неприличную гордыню.

Он появился поздно вечером.

– Входи, мой государственный брат, – сказал я с театральной торжественностью. – Как я понимаю, отныне Киев, где ты родился, и Белосток, где ты провел свои детские годы, могут кичиться и ликовать?

Он чуть смущенно пресек эти игры.

– Заткни свой фонтан и будь почтителен. Теперь я вижу, что в Белостоке, отторгнутом великопанской Польшей, я слишком мало тебя порол. Теперь я пожинаю плоды своей неумеренной доброты и милосердного воспитания.

– Да, я забылся. Прошу прощения.

– Вот так-то лучше. Знай свое место. Тогда я попробую передать суть исторической беседы в доступном для тебя изложении.

Затем он заговорил серьезно. Естественно, надо было тогда же, не мешкая, по горячим следам, возможно подробнее записать все то, что он мне тогда поведал. Но я понадеялся на память. Впрочем, теперь уже поздно вздыхать.

То, что я помню – в сухом остатке, – относится больше к его ощущениям, нежели к предмету беседы.

– Мне поначалу моя задача казалась и понятной и ясной. Я должен четко, без лишних слов, высказать честно и откровенно все то, что я думаю о событиях, свидетелем которых

я был, о людях, которые в них участвуют, об их зависимости от событий и о зависимости событий от этих людей. Однако тут было одно затруднительное обстоятельство.

Когда изначально меж собеседниками отсутствует равенство, возникает неодолимая потребность сказать лишь то, что хотят услышать. И, сознавая такой соблазн, стараясь ему не уступить, я ощущал, как адски трудна эта естественная обязанность – сказать то, что знаешь, и то, что думаешь.

И как деликатно, как осторожно, старательно подбирая слова, я говорил о том, что я видел, о главных лицах испанской трагедии.

Он слушал молча, не прерывая. Когда я кончил, молчал по-прежнему. И вдруг улыбнулся. Хотя все то, что я изложил, звучало печально. Слова его были еще неожиданней.

– Вы стали настоящим испанцем. И как же вас теперь величать? Дон Мигуэль?

Я удивился. Потом сказал:

– По-испански – Мигель.

Он все еще продолжал улыбаться. Потом очень медленно проговорил.

– Ну что же, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, благодарим вас за ваш доклад. Очень интересный доклад. Всего вам хорошего, дон Мигель.

Едва узнавая себя, я ответил:

– Служу Советскому Союзу.

Когда я был уже у порога, он неожиданно произнес:

– А был у вас револьвер, дон Мигель?

Я ничего не понимал.

– Естественно, был, товарищ Сталин.

Он все еще продолжал улыбаться.

– А не приходило вам в голову, скажите по совести, – застрелиться?

Я просто не мог сообразить, куда он клонит.

– Нет, никогда. Что вы, товарищ Сталин, зачем же?

Он ухмыльнулся.

– Да, в самом деле. С какой это стати вам стреляться? Ну что же, дон Мигуэль, дон Мигель, спасибо за интересный рассказ. Мы с пользой провели это время. Желаю вам дальнейших успехов.

Брат замолчал. Я ждал продолжения. Но он лишь коротко заключил:

– Такой вот произошел разговор.

Я все еще был молодым лопухом. И торжествующе воскликнул:

– Ну что же, Мышонок, все отлично!

Он только покачал головой.

– Не знаю.

Я взволновался.

– В чем дело?

И брат негромко проговорил:

– Когда он смотрел на меня, мне показалось, что я читаю, о чем он думает.

Я все не мог себе объяснить его озабоченности.

– Что же ты вычитал?

– Ни слова, ни буковки. Но... понимаешь... этакий прищур: «Прыткий шельмец».

18. Старший

Чем он влюбил в себя необъятное, столь разноликое государство, разноплеменную территорию? Чем подчинил ее своей воле, сделал полигоном истории? Чем он ее загипнотизировал?

Тем, что умел произнести любую банальность как откровение? Сумел внушить, что один лишь он знает, что надо решить, как сделать? Чем он заставил ее поверить, что только он и никто другой выручит, согреет, утешит?

Что это он и есть воплощение Равенства, Свободы и Братства? Свобода... Желанная Клеопатра... И как же она отдается Цезарю? Как совмещаются – он и свобода?

Не знаю. Знаю, что, видя его, чувствовал, как превращаюсь стремительно в какое-то перепончатокрылое. И думал лишь об одном и том же: я уцелею? Или погибну?

Свобода. Есть у меня свобода. Свобода забыть, что я существую, дышу и думаю. И свободен – смотреть на него. Но – снизу вверх. Испытывая священный трепет. Свободен молиться и боготворить. Свободен смиренно жить на коленях.

19. Сам

...И отчитался он толково, и вроде бы сделал все то, что нужно, а вот не лежит к нему душа. Надеюсь, мой нюх на человека не так уж и плох, а все же случалось, что верил какому-то проходимцу. Эта история с Бажановым, сбежавшим из-за моей непростительной нерасторопности, уж казалось бы, раз навсегда могла отрезвить. Не говоря о других мерах.

Важно не то, что человек тебе говорит. Важно лишь то, о чем он молчит. Бывает, что важно даже не то, что делает он, а то, что он чувствует. Слышать произнесенное вслух – вот без чего нельзя обойтись. Проникнуть в утаенное чувство – это не каждому дано. Такие уникальные качества приходят лишь с годами, лишь с опытом, и далеко не ко всем – к единицам. Способным их воспринять и сделать своим незамечным оружием. Смею надеяться – я из таких.

Тем, кто меня недооценивал, пришлось не раз и не два раскаяться в своей ошибке. Но их ошибка – на самом деле – их преступление. Она им дорого обошлась.

Да, не лежит к нему душа. И почему она не лежит, стоило бы мне разобраться.

Уже его внешность насторожила. Больше того, она раздражала. Конечно, всегда найдутся люди, которые скажут: какой уж есть, родители ему удружили. Но это поверхностный раз-

говор. Я знаю: внешность имеет значение. Нужно уметь ее читать. Как книгу. Именно так. Как книгу.

Я вот – умею. Есть у меня, надо бы знать вам, такое качество. Оно ко мне не с неба упало. Я со своих семинарских лет в эти дары небес не верю. Я это качество долго выращивал. И еще дольше его шлифовал. Эта работа пошла мне впрок.

То, что он невеликого роста, – это еще не такой уж грех. Множество не последних людей имели весьма умеренный рост. Длина сама по себе не достоинство. Длинных людей я сам не терплю. Им кажется, что рост их возвысил. Могут смотреть теперь сверху вниз. Болваны. Я таких много видел. Дело не в росте этого живчика. Живчик. А ведь точное слово. Весь он такой – подвижный, ловкий, пронырливый такой господин.

Тепло. Похоже, какой-никакой – шажочек в правильном направлении.

Ему не по сердцу Андре Марти. Марти, он считает, прямолинеен. Так он сказал. «Прямолинеен». На самом деле он бы хотел употребить другое слово. Которое решил проглотить. Я знаю примерно, какое слово. И почему он его проглотил. Это я тоже, конечно, понял.

Но – по порядку. Вот почему не по душе ему прямолинейность? Это не столь уж дурное свойство. Мне оно внушает доверие. Все социально близкие люди, как правило, были прямолинейны. Он-то предпочитает гибких.

Много встречал я гибких людей. В целом это чужие лю-

ди. Любят, когда они всем приятны. К чему это приводит – известно.

Евреи, как правило, гибкие люди. Конечно, случаются исключения. Обычно это не слишком востребованные и ограниченные. Как Мехлис.

Но характерны, понятно, другие. Те, кто торопятся, суетятся и норовят забежать вперед. Им главное – отличиться от прочих. Чисто семитская черта. Они ведь и пишут справа налево. Клоуны. Лишь бы не как другие.

При этом – недюжинная энергия. И непомерные притязания. Провинциальные наполеончики. Если еще точнее – Львы Давидычи.

Вот, наконец, все прояснилось. Я понял, на кого он похож. Кого он мне так напоминает. Троцкого. Кого же еще? Сперва почувствовал, вот и понял. Чутье никогда меня не обманывает. И в самом деле чем-то похож.

Даже не внешне. Не в этом дело. Пусть смахивает хоть на римского папу. Похож поведкой, любовью к кожанкам, ртутностью, всей своею натурой.

Да, это так. И я понимаю, какое слово этот вот чертик из табакерки имел в виду, когда он назвал Андре Марти прямолинейным человеком. Давно уже мне известное слово, которым тот злобный авантюрист когда-то меня припечатал. «Посредственность». «Величайшая посредственность в партии». В отличие от него мне, видите ли, не доставало блеска и треска. Как знать. Но я не переносил бенгальских огней и

фейерверков. Я не блесстел. Допустим, что так. Я и не стремился блеснуть. Я знал, что блеск раздражает массу. На миг увлечет, но зато потом навеки запомнит, что ты – не свой. Блестят не свои, блеснут чужаки. Закон природы и географии. Недаром народ себя утешил: не все то золото, что блестит. Имеющий уши услышит сразу, какая обида в этих словах.

Ну вот. Теперь я вполне разобрался, что меня в нем насторожило. Поблескивает. Любит блеснуть. Как тот зарвавшийся златоуст, которого я отсюда выдворил. Кстати, по непростительной глупости. Дал унести ему ноги целым. Я – посредственность? За это словцо ты мне заплатишь. Сполна заплатишь. И сам, и твое поганое семя.

Эта посредственность подчинила себе, своей воле, одну шестую нашей планеты, ей поклоняются двести миллионов людей, и это, заметь, еще не предел. Дай Бог здоровья, там видно будет.

Я низкорослый, я рябой, из маленького неизвестного города. И что из того? Где я и где ты? Носишься по белому свету. Ищешь где спрятаться. Нет, не спрячешься. Я все равно до тебя доберусь. Будь ты хоть на краю земли. Самая трудная наука – наука ждать. А ждать я умею.

А что касается этого Мигеля, то ясно, что торопиться не следует. Тем более, он еще может понадобиться. Необязательно тут спешить. Он, кстати, занервничал. Не понравилось, что я назвал его доном Мигелем. Не подал вида, но

поднапрягся. Разумнее его успокоить.

Пусть покрасует, погарцует, пусть он попляшет еще – напоследок.

20. Старший

Вот и кончается эта ночь. Скорее всего, она и есть моя последняя ночь на земле. Недаром тогда толкнулось, почудилось... В какой-то подкорке, на самом доньшке... Тут бы задуматься, тут бы спросить себя... Что означает это обилие, переизбыток монарших даров? Одно за другим. И то и это. Член-корреспондент Академии. Тут же и кандидат в депутаты. Французская пьеса «Король забавляется».

Все же хотелось бы мне понять, почтеннейший кандидат в депутаты, давно ли вы у него в кандидатах? Сперва – в фавориты, потом – в покойники. И долг ли срок – из одних в другие? А впрочем... да надо ли мне это знать? Все это не имеет значения. Все это – морок, позорище, грязь. Важно лишь то, что неправильно жил. Мечтал – не о том. Желал – не того. Делал – не то. Служил – не тем.

А мальчиком что-то соображал. Думал: однажды засяду за стол. И сотворю хорошую книгу.

Мыслей так много, что не собрать. А чувства я себе запретил. Дай им лишь волю – сойдешь с ума. Выходит, что душа все же есть. Уж если так болит, значит, есть.

Все-таки это непостижимо – род человеческий так талант-

лив и так драматически неумен.

«А не хотели вы застрелиться, дон Мигуэль, простите, дон Мигель?»

– Хотел. Безусловно. Но не успел.

Бедный Малыш...

21. Младший

Больше шести десятков лет живу я на земле без Мышонка. Живу в перевернутом этом мире. Но до сих пор не могу смириться с тем, что пришлось мне жить без него. При всей моей трезвости и рассудительности – как он умел над ними подшучивать! – вдруг ощущаю совсем незнакомый, тревожный мистический холодок.

Неужто и впрямь в моей стране, которой, как он мне любил напомнить, выпало стать полигоном истории, пишущим людям с умом и сердцем редко дается долгая жизнь? Неужто есть тут закономерность?

Я пережил не только его, я пережил и его убийцу, который почти меня убедил, что он избранник и миссионер, что он бессмертен и жить будет вечно. Я расплатился с ним в полной мере за то, что он меня пощадил, за то, что умру я в своей постели. Я расплатился тем, что не смог стать вровень с братом, жил осмотнительно, делал лишь то, что мне предписано, служил негодяям, не лез на рожон. Пусть тот, кто смелее, меня осудит. Мой собственный суд все равно страшней.

Цена за мой затянувшийся век была достаточно дорогой – вкрадчивая, осторожная поступь, негромкий голос, покладистый нрав.

Но в мартовский день, когда, наконец, утомонился кремлевский деспот, я, никогда не веривший в Господа, проговорил: так все же Ты есть... Ну вот и все. Тридцать лет бесправия, крови и трепета, тридцать лет ничем не ограниченной власти, самая тяжкая, беспросветная, самая бесконечная ночь все же иссякла. Как колодец. Хуже уже ничего не будет.

Кончилась эта безумная жизнь на Джомолунгме его всеведения, на Северном полюсе этого черного самодержавного одиночества.

Сдулась непостижимая магия, замешанная на молитвенном ужасе, на этом первобытном, пещерном, дикарском обожании жертвы, целующей сапоги палача. Ты все-таки оказался смертен.

О, знать бы, знать бы, что ты испытывал, когда лежал один на полу, прежде чем заледенеть окончательно, нарочно оставленный холуями. Понял ли ты в тот единственный миг, вбирающий последнюю судорогу, тщету твоих страстей и усилий?

Уверен, что ничего не понял. Больше того, ничего не чувствовал, кроме все затопившей ненависти к миру, который и без тебя не перестанет существовать.

Но эта запоздавшая смерть не воскресит, не вернет мне брата.

Я и сегодня, когда я так стар, когда расплатился по всем счетам с этой землей, на которой провел больше ста лет, никогда не пойму и не прощу сухорукого дьявола, свихнувшегося от всех своих маний, от этой своей изуверской злобы, от запредельного одиночества.

Могу лишь представить весь ад его смерти.

Но нет во мне и крупицы жалости. Нет даже капельки сострадания, стоит лишь вспомнить про всех, кого нет.

Стоит подумать о том, как Мышонок прошел этот последний свой путь, как сделал в самый последний раз бедным своим пересохшим ртом прощальный глоток земного воздуха, я повторяю: нет, не прощу.

22. Младший

Я уцелел. Вопреки всему. Не знаю, зачем земному божку понадобилось сохранить мне жизнь, а Богу на небесах – продлить. Вступив в одиннадцатое десятилетие, я постигаю Верховный Разум все хуже, гораздо хуже, чем прежде. Не знаю, что мне бы сказал мой брат об этом веке, об этом мире. Возможно, ничего не сказал бы. Мне ясно: он многого не договаривал. Должно быть, догадывался: есть знание, которое не всем по калибру. И он щадил меня и берег.

Теперь вспоминаю его проговорки. А чаще – всего один эпизод. Однажды я ему показал эскиз будущей карикатуры – привык проверять свою работу его глазами, его судом.

Он посмотрел, помолчал, поморщился, потом пробурчал:

– Уверен, Малыш, ты можешь сработать изобретательней. Даже изысканней. Это понятие не крамольно. Когда постоянно живешь и трудишься в этом смещенном мире гипербол, особенно важно не утратить определенного изящества. Мне кажется даже, в карикатуре известный эстетизм уместен.

Я только вздохнул. Уныло сказал:

– Народ не поймет.

Он рассмеялся. Потом патетически продекламировал:

– Малыш, не дорожи любовью народной.

И почему-то вдруг погрустнел.

Я скоро понял, как многослойна была шутливая интонация и как печальна эта цитата.

23. Автор

Возможно, в неведомых мне оазисах, в неведомые мне времена случались благополучные жизни и гармоничные биографии. В стране тысячелетнего поиска, на жертвенной непонятной земле, складывались особые судьбы, меченные особым тавром.

Проносятся годы, десятилетия, уходят свидетели, очевидцы. Нет уже тех, о ком ты лишь слышал, и тех, кого видел, кого ты знал.

Непревзойденному журналисту, убитому Михаилу Кольцову не дали дожить и до сорока. Но патриарху карикатуры,

маститому Борису Ефимову, выпало даже больше ста лет. Он умер в двадцать первом столетии.

Давным-давно прошло мое детство. И редко я его вспоминаю. Меж тем оно было звонким и праздничным, как опера «Севильский цирюльник» – первое знакомство с театром.

Теперь я отчетливо сознаю, что между смуглолицым бакинцем и мною нынешним мало общего – случись нам встретиться, мы, должно быть, и не узнали б один другого.

Так много людей – и спутниц и спутников, – кого я любил и с кем был дружен, давно покинули белый свет.

Нет уже в нем четы Рубецких – ни основательного супруга, ни трогательной, озабоченной Нины, однажды призвавшей меня смириться.

И вот они вспомнились, задышали, и стал разматываться клубок.

И отчего-то сам не пойму, какие звеньишки вдруг сомкнулись в неясных лабиринтах сознания, так зримо предстали мне братья Фридлянды, оба они – Михаил и Борис.

Однажды приходится сделать выбор. И, вглядываясь в едва различимые, уже почти забытые тени, я снова спрашиваю себя, неведомо у кого допытываюсь: что же важнее для человека – выиграть жизнь или судьбу? Неужто смирение так спасительно? Или, пока дышу и живу, я должен, обязан сопротивляться, маяться своей маятой?

Теперь, когда дни мои на исходе, осталась лишь зыбкая горсточка жизни, пора мне уже, наконец, понять.

февраль 2016

Бубенчик

Монолог

Милый мой Игорь, я постараюсь достаточно внятно и обстоятельно ответить на заданные вопросы. Само собой, если мои возможности позволяют, а они убывают. И, надо сказать, весьма стремительно.

Это естественно. Остается, в сущности, жалкий огрызок жизни. Вот и твержу, как некую мантру, дальневосточное четверостишие. «Сумерки. Над монастырской стеной Грустное небо темнеет. Вниз по тропинке до спуска с горы Учителя меня провожает. Мне уже семьдесят минуло лет. Учителю – за девяносто. Оба мы знаем: на этой земле свидеться нам не придется».

Странное дело! Давно уже нет на свете Учителя, да и мне уже давно не семьдесят лет. И что за монастырь на горе? Сам не пойму. Но который день не отпускают меня эти строчки. А объясняется все так просто – устал. Как говорится, тотально. Устал от эфира, от прессы, от толков. А пуще всего – от главной обязанности: впрягаться по утрам в новый день.

Простите меня. В последнее время все чаще со мною такие грехи. Сначала поговорим о вас.

Вы кажетесь мне весьма небанальным, живым и мыслящим человеком. Немаловажные достоинства. Их обнаруживаешь нечасто. И уж, тем более, в ваших ровесниках.

У вас есть сложившиеся, свои, отнюдь не заемные соображения. С вами интересно беседовать. Даже заочно. Это немало.

Словом, не стану от вас скрывать. Очень вы мне пришлись по нраву. Возраст приучил меня к сдержанности – к исходу жизни чуток помудрел, но вам удалось меня обаять. Значит – умеете вызвать симпатию. Качество ценное. Важный талант. Они вам еще не раз пригодятся. Мягких людей перестали делать. Теперь косяком пошли броненосцы. Но и у них возникают пристрастия, произвольные предпочтения. Вам от рождения повезло – дано расположить к себе ближних.

На этом закончу необходимую, в какой-то мере медитативную, но и лирическую преамбулу. И перейду к предмету письма – к вашим заботам и недоумениям.

Милый мой Игорь, и жизни не хватит, чтоб убедительно вам ответить. А у меня от нее остался жалкий огрызок, да и, по совести, вряд ли бы я сумел и смог.

Всякое сомнение – гидра. Сруби ему голову – вырастет новая. Такой, в высшей мере, самодостаточный, уверенный в себе господин, как генерал Шарль де Голль, однажды сказал, что решать проблемы нет смысла – разумнее с ними жить.

В сущности, так мы и поступаем – уже не первое тысячелетие живем среди мифов и миражей.

Но люди не способны смириться с тем, что возможности их ограничены. Что обусловило их достижения, но в то же время стало причиной многих обидных разочарований.

Сам я давно уже примирился с тем, что полезно знать свой шесток. Те давние дни, когда мне казалось, что я увижу небо в алмазах, остались далеко позади. Пришла пора подвести итоги.

От этого тягостного занятия вас отделяют долгие годы, но вы, к сожалению, как и я, из племени молодых да ранних. Забот появится выше крыши, но вот что занятно и утешительно – было б досадно их не иметь. Беспечно резвиться – это ведь тоже нелегкий, изнурительный труд. Я воздержусь от весьма сомнительных, набивших оскомину уверений, что горе делает нас мудрей, но, безусловно, оно совершенствует, шлифует и делает тверже душу. Тем более когда речь идет о человеке нашей профессии.

Пожалуй, ваша больная тема – вы то и дело к ней возвращаетесь: как чувствует себя человек, вполне независимый от государства, насколько естественна его жизнь?

Как я понимаю, при всех условиях для вас исключена эмиграция. Мне это близко – чувствую сходно. За морем житье не худо, говаривал Александр Сергеевич. Но сам он, даже в смутную пору, побег замыслил не дальше Болдина. Было неясное побуждение участвовать в экзотической миссии Акинфа Бачурина в Китай, но, думаю, это был некий вызов – то ли себе, то ли судьбе. Я так и не пойму до конца – был ли по-

эт предельно искренним в своих возражениях Чаадаеву, или он так ощущал свою слитность, даже тождественность свою с родиной, — как бы то ни было, он понимал свою неразделимость с Россией.

Бесспорно, тот, кто мыслит и чувствует, не может не слышать, не ощущать тех тектонических толчков, которые приводят отечество к периодическим землетрясениям. В эти минуты роковые невольно сопоставляешь его с другими странами и сообществами, с тем, как в итоге сложились их судьбы.

Мы часто сетуем на историю, которая на роковом повороте нас обратила лицом не к Риму, а к Византии и не позволила стать нам естественной частью Европы.

Выбор поистине роковой обрек нас на три черепашьих века монгольского мора — темное время.

Мы опоздали однажды на поезд — это нам дорого обошлось.

Впоследствии мы даже привыкли, что часто сбиваемся с дороги — когда упираемся в тупики при неоправданных поворотах, усматриваем в этом особость. Охотников доказать правомерность подобных маршрутов всегда хватает.

Но неразумно копить обиды, хотя мы, как обнаружилось, склонны к этим мазохическим играм. Иной раз кажется, что готовы даже возвести их на уровень некоей национальной идеи. Понятно, что это игра с огнем. Страны она заводит в тупик, народы переживают крах своей исторической пер-

спективы.

Похоже, что нас утомила обязанность соединять две части света. Либо она показалась служебной, не отвечающей нашим масштабам. И вместо того чтобы стать, наконец, синтезом двух цивилизаций, вступили в междоусобный спор за право быть частью одной из них.

Когда я пребывал в вашем возрасте, я тоже иной раз тревожил старцев. Они загадочно улыбались. Давали понять, что хотят мне добра, а потому – замкнули уста.

Возможно, тут есть свои резоны, и эта душевная глухота, равно как духовная лень, на деле – выстраданный защитный инстинкт. Чем меньше знаешь, тем крепче спишь.

Но существует на этой планете иное непутевое племя – при всякой погоде ему нейдет. Вместо того чтобы обжигать полосу тверди, они продолжают гоняться за золотым руном. Возможно, они и впрямь уверились в том, что движение больше цели.

Правы они или неправы, но такова их точка опоры и оправдание бед и жертв. «Вперед! Наш путь – сквозь тернии к звездам и, если звезды недостижимы, тем хуже для них, но не для нас».

Должно быть, подобные заклинания наделены гипнотической силой, коли воздействуют столько лет. Примкнуть к большинству – не великая доблесть, но жить и выжить становится проще.

Преамбула моя затянулась, но времени у меня немного,

поэтому я так многословен. Старая шутка, но и сегодня она, как видите, справедлива.

Срок мой на этой планете ничтожен. Теперь уже не умом, а кожей я ощущаю свою непрочность и сознаю, что моей работы уже не довести до конца. Да и не только ее – всего. Это открытие в равной мере относится и к недочитанной книге, и к незаконченному письму. Каждая новая страница может остаться незавершенной, каждая начатая фраза – вдруг захлебнуться на полуслове.

То, что когда-то казалось хандрой, тучкой, игрой воображения, сегодня стало моей повседневностью. Стало понятным, что невозможное может случиться здесь и сейчас.

Понадобилась целая жизнь, чтобы я понял, как неумело, как дурно я ею распорядился. Теперь уже ничего не исправить. Но вы еще в начале дороги и ваши дни еще плодоносны. Лишь вам одному надлежит ответить, насколько готовы вы к диалогу, какими видите собеседников.

Должен сказать, что вы стартуете в достаточно толерантные дни. Даже и сравнивать их не надо с суровым полицейским режимом, доставшимся моей генерации.

Догадываюсь, о чем вы подумали: «Откуда может он знать, что чувствуют люди, которые проживают третье десятилетие жизни? Все, что он знал, давно забыл. Уже не помнит, как изнурителен, порою невыносим этот возраст. Уверен, что несколько поцелуев способны перевесить тот ад, в котором на медленном огне корчится твое самолюбие».

Не торопитесь мне возразить. Я это знаю не понаслышке. Я тоже, как вы, рожден на юге. И тоже, как вы, как каждый из нас, прошел все круги неизбежного ада, который нам выпадает в юности. Мне тоже понадобилась вся жизнь, чтоб стало ясно, как неумело, как вяло я ею распорядился.

Не зря так часто я вспоминаю свою провинциальную юность. Запомнил, что значит – быть чужаком. Возможно, поэтому до сих пор так больно видеть новых пришельцев, сорванных с родительских мест выпавшей им мигрантской бедой.

Глядя на то, как неприветливо смотрят на них аборигены, сразу же думаю: точно так же оглядывают господа европейцы и преуспевшие дети Америки моих кочующих соотечественников.

Да только ли их?! Люди и страны поднялись с насиженных мест – одни утратили веру в свой род, другие – в правительства, третьи – в будущее, четвертые – в собственные цивилизации. Все сдвинулось, стронулось, все в движении. Снова, как тысячу лет назад, вершится (какое уже по счету?) переселение народов, готовых решительно перенаправить, переиначить свою судьбу.

К чему это приведет? Кто знает? Дай Бог, чтоб не к бойне и не к потопу. Когда так близко, лицом к лицу, сталкиваются полярные множества, они высекают опасные страсти. Те, кто умеют терпеть, – выживают. Но школа гонений и унижений – кузница ненависти и зависти. А это опасные трофеи. Уро-

дуют и личность, и жизнь.

И вот что кажется мне примечательным – если задумать-ся, что отличает нашу историю, можно увидеть, что наше движение не ступенчато. И Пушкин неспроста поминал начало славных дней Петра и дней Александровых прекрасное начало.

Они несхожи. Но неизменно: новая глава в нашей книге пишется с белого листа. Всегда – передел, переустройство. Всегда приступаем к своей особой, несхожей ни с чем вавилонской башне!

Нет, не везет, не везет моей родине. На историческом повороте ее, как правило, поджидает какой-то анафемский укорот. То укоротили Сперанского, то Лорис-Меликова, то – Витте. О Керенском нечего и говорить – ростом не вышел, но ведь предшественники были не юноши, не прожектеры.

Все неизменные неудачи наших развенчанных реформаторов имеют как будто predeterminedную, трагикомическую судьбу. Стало быть, есть тут закономерность.

Меньше всего я хотел бы сказать, что я способен на все ответить, все объяснить, всему научить. Меньше всего хочу взгромоздиться на некую кафедру, и уж тем более на всенародную трибуну. И не повинен ни сном ни духом в повышенной самооценке. Все, что могу я себе позволить, – это по-сильно поделиться сугубо частными соображениями в сугубо частном письме к человеку, к которому питаю симпатию.

Странное дело! Всего печальней, что столько весьма до-

стойных людей – от Панина до Горбачева – народом были не только непоняты – напротив, всякий раз вызывали какое-то странное раздражение, иные из них – прямую враждебность.

И в то же время любой тиран, способный на любое злодейство, более того, на палачество, внушал непонятное уважение вплоть до какого-то патологического, непостижимого обожания. Невольно вспомнится, как поэт спрашивал то ли себя, то ли нас: к чему рабам дары свободы?

Нет, в самом деле, быть может, вольность должна остаться прекрасным призраком? Либо молитвой, либо мечтой? И на пространствах, где, как однажды, презрительно оскалился Вяземский, «от мысли до мысли пять тысяч верст», свобода не столь уж необходима? И втайне мы ощущаем страх перед ее неясными безднами? Сами не верим в свою готовность дышать ее пронзительным воздухом? Должно же быть внятное объяснение.

Понятно, что русскую литературу не оставляла ее потребность в несочетаемых началах, в непредусмотренных развязках. И неслучайно души в ней мертвые, а труп, соответственно, живой. Вы, разумеется, полагаете, что это великие метафоры. Нет, это – великие догадки. Вот потому-то отечество платит так больно за свои парадоксы.

И все же: как вырулить нашему брату из этой загадочной стремнины? Вас неслучайно так занимают те, кто пытается записать непостижимую русскую жизнь. Ей повезло с ее летописцами. Они помогли ей не заledenеть.

Должно быть, как сын молодого века, вы скажете мне, что ко всем свидетельствам, оставленным бедными страстотерпцами из завершившегося тысячелетия, следует отнестись критически. Что могут произнести уста, отменно вышколенные цензурой? Но ведь цензура – наш вечный крест, и кто не сетовал на цензуру? Она и вовне, она и в нас. Еще неизвестно, какая коварней. Как бы то ни было, мы обязаны садиться за стол и делать что должно.

Был ли – по гамбургскому счету – потерян коммуносоветский век для нашей литературы? Не знаю. Фадеев, о котором вы спрашиваете, предсмертным письмом, казалось бы, дал исчерпывающий и веский ответ. В последний свой год он все чаще и чаще срывался в многодневные гульбища и во хмелю томился и каялся: «Грешен я, грешен, люблю властишку». Меж тем все упорней ходили слухи о том, что из дальних мест возвращаются пропавшие спутники его молодости, когда он только еще входил в свою литераторскую силу и набирал поначалу общественный, а вскоре чиновный, карьерный вес. Стало известно, что много пришельцев, расконвоированных, воскрешенных, вернувшихся из небытия, его объявили нерукопожатным.

Стало понятно, что не сложилась не только писательская судьба, не состоялась, не удалась так называемая личная жизнь. Женщин вокруг толпилось много, менял он их часто, но понимал, что ни одна из них не важна, не дорога, не стала нужной. Официальная жена, премьерша правительствен-

ного театра, вполне соответствовала его рангу, но весь отпущенный ей природой запас любви она израсходовала, истратила на другого писателя, в отличие от него гонимого, и вот любимец и фаворит, в поисках выхода из тупика, придумал себе такую отдушину – начал забрасывать письмами-исповедями подружку юношеской поры, лица которой почти не помнил. Он все уверял, что скоро вернется в родные места, что там они свидятся, но год за годом откладывал встречу, – дела обступили, вздохнуть не дают. Скорее всего, и сам сознавал: разумней остаться в пределах мифа, разыгрывать вместе с женой-актрисой их опостылевший спектакль. Пуля лишь стала свинцовой точкой этой нелепо загубленной жизни.

Леонов, трудившийся в одиночестве и – так мне кажется – отказавшийся заботиться о своем читателе, похоже, и сам, в конце концов, уставший от собственных тайных смыслов, однажды, в недобрую минуту, отрывисто бросил: «Сидишь за столом, обмакиваешь перо в чернила, высиживаешь проходимое слово, покамест высидишь, капля высохла и нет желания продолжать».

Кто знает, быть может, он неспроста стал мастером неразгаданных шифров. Он шифровал своих героев, зашифровал и себя самого. Неотвратно терял читателя.

И сам читатель под прессом власти преобразился – стал одномерней. Леоновский поиск своей автономности с его недосказанностью и смутностью входил во все большее про-

тиворечие с подчеркнуто усеченной речью, тем более усеченной мыслью.

В сталинской табели о рангах ему отвели генеральское место, ему позволяли легкую фронду – и тяготение к Достоевскому, и дружбу с Соломоном Михоэлсом, и затянувшееся молчание. Ждали. Но минули десятилетия, давно завершилась жизнь вождя, один за другим сошли со сцены его уцелевшие ровесники, мало-помалу, устали ждать.

Однажды утром он не проснулся. Осталась незавершенная рукопись. Впоследствии был обнародован пухлый и все же незавершенный том – еще одно пастбище диссертантов. Не думаю, что его заметили.

Какая безжалостная эпоха, какое несчастное поколение! На столь кровавом и изнурительном, крестном пути родной словесности нет времени страшней и безумней. Как все ваши сверстники, вы уверены: они заслужили то, что имели. Обслуживали безграмотных деспотов и принимали все их подачки, всякие бляхи и побрякушки.

Недавно несколько литераторов заспорили: что же, в конечном счете, заставило Александра Фадеева приговорить себя к высшей мере? У каждого была своя версия, но все сходились на том, что письмо, оставленное им перед тем, как привести приговор в исполнение, – настолько мельче его решения! И половинчато, и водянисто, не адресовано ни современникам, ни тем, кто сменит нас на земле. Всего лишь на уровне тех сановников, к которым оно обращено. Я пом-

ню, в каком недоумении был хмурый, весьма почтенный писатель, обычно подчеркнуто немногословный:

– И это написано в те минуты, когда человек его калибра возносится над самим собой, на миг становится равным Богу? Стоило ли кончать свою жизнь, которую, прозрев, ты увидел и неудавшейся и загубленной, не попытавшись ее приподнять, облагородить последним криком?

Одни соглашались, другие брюзжали, но все ощущали – я это видел – какую-то горькую разочарованность, не то досаду, не то обиду. Казалось, что этот человек, давно уж себе не принадлежавший, привычно не оправдал ожиданий.

Я знаю, как он виноват, как грешен, я знаю, что те, кто его обличает, имеют печальные аргументы, и все же безотчетная жалость к этой жестоко развенчанной жизни, к его изуродованной судьбе мешает мне бросить еще один камень в его обещенную могилу.

Должно быть, вам трудно понять мой вздох. Равно как понять великий народ, который почти три четверти века молитвенно славил кровавого идола. Любому новому поколению, глотнувшему хоть скромную горсть дарованного свободомыслия, трудно простить моих современников. А нам уже нелегко распрямиться. И сколько я ни внушаю себе, что в эти жалкие несколько дней, оставшиеся мне на земле, нужно позволить уму задышать, мое осмотнительное перо уже неспособно стать независимым. Вы помните эту старую притчу: что делает птица перед полетом? Вглядывается

в вольное небо? Ищет себе местечко в стае? Попросту расправляет крылья? Нет, прежде всего становится гордой.

Но нам еще не дана первородная, беспримесная спокойная гордость. Разве что отроческая гордыня. Слишком мы долго, даже любовно пестовали свою обидчивость, словно она-то и есть свидетельство наших неочененных достоинств. Вот и гордимся со странным вызовом – суетно, шумно, неутолимо.

Мир хоть велик, а нашему брату, связавшему жизнь с пером и бумагой, не так-то просто найти в этом мире место для письменного стола. В толпе ты не слышен, в безлюдье не нужен.

Это исходное несоответствие необходимого уединения стойкой потребности быть услышанным определяет тот драматизм, который заложен в нашей профессии. Письменный стол – наше лобное место.

Время дебюта – крутая пора. Ты не подперт своими трофеями. Ни громкой хвалой, ни громкой хулой. Ничем еще не заработал права привлечь внимание аудитории. Еще не возникла склонность к аскезе. Естественно. Хочется потолкаться. Возраст нашептывает и предлагает много разнообразных соблазнов. Тем более всегда под рукой необходимое оправдание – нужно накапливать впечатления.

Всему свой срок. С течением времени полюбите одинокую жизнь. Это естественно. Братья-писатели – по сути своей отдельные люди. Строем не ходят, петь в хоре не могут.

Не всем по душе такие свойства. Рискуете кого-то задеть. Будьте терпимы и терпеливы.

Ибо придется сегодня и завтра сдавать свой ежедневный экзамен. И запретить себе многие радости. Сегодня и завтра входить в эту реку, сегодня и завтра садиться за стол. И выдержать этот строгий режим, к тому же выбранный добровольно. И, посещая библиотеки, гасить в себе колючую мысль, что книги на полках напоминают могилы неизвестных солдат.

Нет смысла винить свои амбиции, свои честолюбивые сны – все эти детские болезни со временем пройдут без следа. Но не уходит неуправляемая и вряд ли объяснимая страсть, которую не оправдать ни горячкой, ни помрачением ума.

Не верьте презрительному оттенку, который с незапамятных дней так незаслуженно прилепился к достойному слову «графоман». Не было среди нашего брата избранников, пришельцев из космоса. Мы честные труженики, работяги. Где эти баловни и любимчики, где эти фавориты богов?

Я не толкую об исполинах, я так и не сумел их понять, так и не разгадал их тайну. Я говорю о таких, как я. Нам по калибру лишь редкие вспышки, редкие зарницы удачи – тем они памятней и милей.

Мы в сущности – выморочные люди. Не то наркоманы, не то слепцы.

Но вы решили бесповоротно умножить армию одержимых. Неволя вам милее свободы, вас не страшит разумная

мысль, что в час просветления вы содрогнетесь.

Понять меня вы вряд ли сумеете. Не потому, что я слишком мудр. Мудрость моя так мало весит рядом с отвагой вашего возраста. Суть в том, что вы – на другом берегу. Еще далек ваш день переправы.

Мои открытия и постижения остались в прошлом, – иными словами, уходит все то, что в них привлекало – свежесть и дерзость, трепет и страсть. И ныне, как любой пассажир, отставший от поезда, лишь смотрю, как исчезает за поворотом фонарик последнего вагона.

Радости мало, но все яснее, как относительны и условны понятия «длительность и мгновенность», как иллюзорна меж ними грань.

В юности веришь, что не умрешь – это случается лишь с другими – и вместе с тем, трудно вообразить, что люди способны прожить так долго. Невесело себя ощущать не столько мыслящим тростником, сколько диковинным экспонатом. Но с очевидностью надо смириться.

Разумней помалкивать. Заговоришь – выслушают, но не прислушаются. Не вызываешь интереса.

У литератора эта пора еще безысходней – свою неостребованность воспринимаешь как катастрофу.

Мало кому приходит в голову винить в своих бедах себя самого – охотнее клеймят человечество. Оно и равнодушно, и косно. Самодовольно, слепо и глухо.

Небезупречны не только люди, несовершенны и государ-

ства. Сколь ни прославлена птица-тройка, разумней не хмелеть от надежд.

Естественно, тем, кто мыслит и чувствует, непросто уцелеть под копытами, но тут ничего не остается – лишь вспомнить картезианскую формулу... Пока ты мыслишь, ты существуешь.

И все же есть смысл немного умерить свои заботы о человечестве – оно разберется, или, скорее, не разберется с ними само. Мы ограничимся литераторами. Все же заботы их вам понятней, они вас осаждают и точат. Чем вы разительнее отличаетесь от многих юных собратьев по цеху, которые, прежде всего, намерены облагодетельствовать сей мир.

Поверьте, мне и сегодня мило это задорное мессианство. Очень возможно, оно и есть – первое условие творчества. Избыточная скромность вредна. Тем более в начале дороги. Трезвость и мудрость еще придут к вам, отвага уходит вместе с весной. В особенности если ты трудишься под сенью цензуры – как беспощадно уродовала она мою молодость!

Ваша эпоха полиберальней, значит – возделывайте свой сад. Коли понадобится найти некую пакость в вашей работе – ее отыщут без вашей помощи. Пока же делайте то, что должно. И положитесь на ход вещей.

Само собою, я сознавал: нельзя приспособливаться к абсурду – он обесмысливает твой труд, сопротивляясь, растишь характер. Я помнил: воля приводит к цели гораздо чаще, чем одаренность, и все же так и не смог поверить, что

обретенная мною броня дороже той колдовской горячки, с которой приступаешь к работе.

Сегодня я знаю формулу счастья: весеннее утро, мне тридцать лет, стопка непечатой бумаги.

Можно смириться, в конечном счете, с тем, что уже никогда не будешь тридцатилетним, что за окном – не вешний рассвет, а зимняя ночь, но нет во мне необходимого мужества, которое наделяет силой, чтоб выжить без письменного стола.

Нет радости острее, чем та, которую дарит тебе твой замысел. Только предчувствие любви может сравниться с этим бубенчиком, который ты слышишь в счастливый миг, когда запишешь первое слово.

Таинственную природу писательства пусть объясняют ученые дяди. Я – скромный практик, могу сослаться только на персональную кухню. У каждого повара – свой черпак.

Мне выпало родиться на юге, в шумном и звонком портовом городе. И ваша *mania grandiosa*, как вы осторожно ее называете, не вызывает во мне отторжения – у всех южан горячие головы.

Печально, но годы их охлаждают. Видишь пределы своих возможностей. Приходится укротить вулкан.

Но поначалу он должен ожить, и надо не упустить сигнала, услышать его первую дрожь. Бальзак однажды не то увидел, не то почувствовал вспышку молнии – ему явилась во весь свой рост его «Человеческая комедия». Он сразу понял, что

это и есть вся предстоящая ему жизнь.

Скорее всего, он быстро понял, какую опасную игру затеяли с ним непомерный дар и непомерное честолюбие. Поистине горячая смесь. Но круто переменить судьбу и уклониться от назначения, которое он в себе ощутил, не захотел, да вряд ли и смог бы. Писатель над собою не властен. Такому человеку, как он, требовалось величие замысла. Эти ахматовские слова кажутся мне предельно точными.

Но таково начало пути, старт предстоящего марафона. Значительный замысел вас обязывает выбрать героя такого же роста, способного выдержать эту кладь.

Это, само собой, не означает, что я понимаю под соразмерностью – размер, под величием – величину. Имею в виду их соответствие изображаемому лицу. Если вы начали не умозрительно, а чувственно осязать человека, которому решитесь доверить послание миру, заветную мысль, однажды прибившую вас к столу, можете приступить к работе.

Не слишком ли долго я вас придерживал? Если б вы были только сюжетчиком, только рассказчиком историй, может быть, я и зря тормозил. Но вас, как я понял, гончар слепил из глины особого замеса.

Нисколько не хочу приписать вам мессианское самосознание. Отлично знаю, что нет у вас склонности вещать ни с кафедры, ни с амвона. Но среди этих странных людей, пишущих тексты, есть те, кто рассказывает чужие подсмотренные тайны и те, кто выкладывает свои.

Естественно, два этих направления, или, вернее, оба характера, вполне правомерны. Кому что ближе. Вы, друг мой Игорь, из тех, кто смолоду привержен к «исповедальной прозе» – так ее принято именовать. Это ни хорошо, ни худо – имеет значение лишь одно: каким вином наполнена чаша.

А попросту: есть два литератора. Один погружен в дела и дни, другой – в свои ночи – вот вам не спится.

Нужна недюжинная отвага. Исповедь не имеет цены, если она прибегает к ретуши. Искренность требует смелой души. Не только смелой, еще и богатой. Иначе при всей своей одержимости ей будет нечем нас одарить. Но стоит помнить, что разговор с самим собою небезопасен. Он может дорого обойтись. Вас ждет многотрудное и беспощадное путешествие по своим лабиринтам.

Что ж, как записано в римском праве, закон суров, но таков закон. Самостроительство неизбежно, даже когда вы убеждены в том, что себя не переиначишь. Хочется этого или нет, придется себя ломать, обтесывать, прощаться с милыми несовершенствами, к которым вы успели привыкнуть, даже по-своему полюбить. Пусть вы сумели себя уверить в том, что они давно уже стали неотторжимы от вашей личности. Тем более что с самим собою всегда удастся договориться.

Все это следует сознавать, помнить, что нет пути назад, прежде чем раз и навсегда, бесповоротно вращи в столешницу. Если вы в самом деле готовы к этой рискованной лотерее, в которой выигрывают немногие и мучаются все остальные.

Но если обойтись без гипербола и без мистической поволоки – разумным людям не так уж трудно определить, где блажь, где судьба.

Однажды, в свои молодые годы, я свел знакомство с одним литератором. Мы оба не были москвичами, но он, в отличие от меня, был из далеких северных мест, к тому же старше и основательней.

Я все еще чувствовал себя гостем, по-юношески хмелел от сознания своей причастности к сердцу державы. Когда он сказал мне, что твердо решил вернуться домой, я ему не поверил. Да почему же? Что за напасть?

Но он помотал головой:

– Так нужно.

И словно топором отрубил:

– Я твердо решил: в потай, в потай.

Последнее слово он произнес с какой-то отчаянной интонацией. Я сразу поверил – оно подсказано не просто желанием щегольнуть точным словцом со скрытым смыслом, но и отчетливым побуждением исчезнуть, затаиться, сбежать. Я ощутил безотчетный страх, который внушила ему столица, великий город, моя мечта.

Впоследствии я думал не раз, как прорастает эта потребность найти тайничок, убежище, схрон. Что было ее первопричиной? Чего ему не хватило? Упрямства? Неутолимости? Жизнестойкости? Той восхитительной оглушенности, которая красит провинциала? И чем же его сокруши-

ла Москва? Своими пространствами? Лязгом и грохотом? И одиночеством, одиночеством, особенно острым в чужой толпе – ей нет до тебя никакого дела, и ты в ней неразличим, незаметен... Меня обожгло касание страха. Чем лучше я этого слабака, казавшегося мне наделенным такой очевидной кряжистой прочностью? Тем, что живу в сочиненном мире?

По росту ли мне самому это море? Можно поплыть, да и не выплыть. Здраво ли я оценил свои силы в южные подростковые ночи? И кто я здесь, если трезво взглянуть?

Впервые в жизни, увидев себя сторонним взором, я содрогнулся. Незванный гость, ни двора, ни кола, с ветром в башке, с дырой в кармане. Зачем я приехал? Кому я сдался? Отважные завоеватели жизни, воспетые старыми романистами, как видно, помutilи мне голову.

Меж тем, возможно, эта готовность к встрече с тревожным завтрашним днем мне очень вскорости помогла не ошалеть от первой удачи, не рухнуть от первого поражения. Тогда я и понял, в чем главный секрет, – успех и беду встречать надо молча. Имеет значение лишь одно: насколько богато твое молчание.

Я понял, что наибольший вес имеет произнесенное слово. Но важно, чтобы читатель чувствовал, что слово это тебе известно. Тогда между вами и возникает таинственная безотчетная связь, свои особые отношения. Впоследствии, как это случается в каждом романе, они будут крепнуть или слабесть – это зависит от многих причин, и прежде всего от того,

совпадут ли ваши миры и ваши печали. Случаются сходные биографии, но связывает сходная боль.

Так складывается ваш трудный опыт, который никогда не бывает таким, как у вашего соседа по жизни, по обществу, по столетию. И счастье и горе – все наособицу, ничем не похожи, все только ваше. И вы тот единственный, кто либо сможет, либо не сможет распорядиться этими пестрыми трофеями.

Сумеете вырастить ваш стебелек, который некогда ощутили каким-то первобытным чутьем? Выживет он? Мера терпения, жизнестойкости, мера отпущенного вам дара – это и есть, в конечном счете, ваша писательская судьба.

Многие неглупые люди твердо уверены: слово «мера» – наипервейшее в нашей профессии. Хочется согласиться, и все же короновать это слово не нужно.

Магия творчества и подчиняет тем, что выходит из берегов. Не зря же Пушкин залюбовался сиянием «беззаконной кометы».

Не зря для потомков нет большей радости, чем ухитриться прочесть зачеркнутое великим покойником, а порою даже вернуть этот вычерк к жизни. Вы помните, Александр Сергеевич решил ограничиться лишь двустижием «в сем омуте...»? Что же, ему видней. Но то, что Пушкину не понадобилось, можно отдать генералу Гремину. Выброшенные Александром Сергеевичем с царственной щедростью, строки эти воскресли почти через полстолетия в опере Петра

Ильича.

Впрочем, оставим на время титанов, давайте-ка вернемся на землю, к нам, грешным, неизвестным солдатам. У исполинов чаще всего и в жизни, и в творчестве свой театр, трагический, монументальный. У нашего брата жанр полегче – и страсти помельче, и сам их калибр. Зато не стреляемся и не вешаемся – со временем тихо уходим в песок.

Я снова сбилсЯ не то на торжественный, не то на почти угрожающий тон. Такое с нашим братом геронтом бывает часто, но неслучайно. И все же разумней себе напомнить при этих опасных поползновениях слова прославленного ровесника: «Чем дольше живу я на этом свете, тем все сильнее моя уверенность, что в мироздании нашей планете поручена роль сумасшедшего дома».

Устал я виниться, весьма возможно, обязывающий предмет разговора настраивает меня невольно на этот не слишком веселый лад. Что делать, непослушным пером помимо воли движет прожитый мною каторжный век. Не удивляйтесь: письменный стол – это и есть бессрочная каторга.

Другое дело, что каторжане ни за какие сладкие пряники не променяют ее на другую, естественную, нормальную жизнь. Они прикованы к своей тачке невидимой добровольной цепью, и без нее ничто им не мило – ни дни, ни ночи, ни реки молочные, ни даже кисельные берега.

Здоровые разумные люди, кто снисходительно, кто сочувственно, посматривают, как в этом котле надежд, сомнений и

честолюбий сжигают мотыльки свои крылышки. Что делать, друг друга им не понять.

Должно быть, и впрямь есть упоение у мрачной бездны на краю. Все видел, все знал Александр Сергеевич. Поныне я просто в толк не возьму, откуда в поэте столько ума. Похоже, что он и сам дивился – не нам, а себе он напоминал: поэзия должна быть глуповатой. Но я уже где-то сказал мимоходом о том, что законы – не для титанов.

Вновь повторю: если вы готовы к судьбе неизвестного солдата, я отговаривать вас не стану. Я лишь хочу, чтоб вы не обманывались: в прекрасных садах изящной словесности выживают морозостойкие души. Оранжевые лепестки сохнут и вянут при первой же встрече с дохнувшей неожиданной стужей. Литература – Прекрасная Дама, и дарит она своей благосклонностью лишь тех претендентов, в которых отчетливо присутствует мужское начало.

Писательницы – те же мужчины. Пусть не обманывают вас ни внешность, ни бархатный голосок. Вы очень скоро в них обнаружите мужскую твердость, мужскую хватку. Литература – мужское дело.

Боюсь, что мой монолог постепенно становится похожим на лекцию. Меньше всего я хотел бы напаять строгий профессорский балахон. Вы – не студент в аудитории, а я – не академик на кафедре. Мы оба прикованы к нашей точке, то, что вы молоды, – ваше счастье, то, что я стар, – моя печаль.

Вам показалось, что долголетие меня посвятило в некие

тайны. Это не так. Я лишь опираюсь на костыли – они помогают сделать еще два-три шажка и не потерять равновесия.

Естественно, меня бы согрело сознание, что был вам полезен. Во-первых, я к вам успел привязаться, а во-вторых, такое сознание подпитывает твою иллюзию, что ты еще участвуешь в жизни.

Вам трудно представить, как это важно. В ваши весенние, вихревые и непоседливые годы это моторное состояние настолько естественно, что его не замечаешь, о нем не задумываешься, в нем пребываешь ежеминутно. Но в догорающие и гаснущие, последние дни твои на земле каждый до тебя долетевший, каждый тобою услышанный звук свидетельствует о твоей сопричастности – ты тоже частица этого космоса.

Поверьте на слово, это так. Летней ночью в распахнутое окно иной раз до тебя долетают звуки еще не уснувшей жизни. Шорох листвы, скрип тормозов, чьи-то далекие голоса. И с тайной радостью сознаешь, что ты еще жив, что еще не смолкла странная, необъяснимая музыка, слышная лишь тебе одному. Все вместе это и есть твоя связь с тем миром, который тебе достался.

Какой фантастически щедрый дар! Он несомненно стоил того, чтоб с ним и обошлись по достоинству.

Мало того, по всем приметам, боги проснулись в тот день в отменном, особом расположении духа. Они наделили пришедшего в мир, как говорится, своею искрой.

Вы несомненно (что за догадливость!) смекнули, что речь

идет о вас — о ком же еще! — что теперь лишь от вас зависит, чтоб огонек разгорелся жарче.

Проверьте себя не раз и не два, готовы ли вы своею подписью скрепить договор с неопознанным духом, вложившим перышко в ваши персты.

Готовы? Если так, то не плачьте о женщине, покинувшей вас. Я позволяю себе прикоснуться к такой болезненной, грустной теме лишь потому, что вы сами решили мне написать о своей обидчице.

Не плачьте о ней, ибо, поверьте, вы никогда ей не принадлежали. Возможно, она ощутила и поняла это раньше, чем вы. Вот и унесла от вас ноги.

Попробуйте лучшей и доброй частью вашей противоречивой натуры, той частью, которая вас и связывает с гуманной отечественной словесностью, порадоваться тому, что девица осталась целой и невредимой. И постарайтесь с течением времени воздвигнуть нерукотворный памятник вашему оскорбленному чувству.

Поверьте, печальные дни пройдут гораздо скорей, чем это вам кажется, и вы их будете воскрешать и черпать из этого колодца, сидя за письменным столом.

Вы просто обязаны обладать положенным вам запасом горестей и неизбежных переживаний — он жизненно вам необходим, как и любому другому поэту, что он ни пишет — стихи или прозу.

Не было б этой «навек утраченной и вновь обретенной»

и мы не прочли бы «Морского призрака», которого оставил нам Гейне. Этот трагический юморист не написал ничего пронзительней. Все пережитое оживет в том, что однажды сойдет с пера.

Не сетуйте на свое одиночество. Творчество – отдельное дело. Артель уместна и хороша, разве чтоб сдюжить бурлацкий ад. Будьте терпимы и благожелательны. Ваше призвание вас обрекло на постриг, на одинокую жизнь. Все ее протори очевидны, старайтесь найти в ней свои преимущества.

Не содрогайтесь – привыкнете, втянетесь, даже полюбите эту ношу, незаселенное пространство, свой малолюдный отцеженный мир. Вам будут желанны лишь редкие гости, зато вы будете их ценить.

Если вам сказочно повезет, если вы встретите свою женщину, считайте, что жизнь вам удалась.

Впрочем, должно быть, я поспешил, запамятовал, что русскому мальчику необходимо сперва обустроить либо вселенную, либо Россию. Федор Михайлович был убежден, что меньшим его не ограничишь, а он ведь не жил в двадцатом столетии, тем более не успел надышаться азотом двадцать первого века.

Что же тут сделаешь, и у профетов свои пределы воображения. Тот редкий случай, когда пространству дано укротить и стреножить время.

Забыть не могу, как вдруг, неожиданно – случилось это в далекой стране – я вышел к берегу океана, и даже минуты не

дав опомниться, стихия подступила к ногам. И я физически ощутил, как материк оборвал движение, как с ходу уткнулся в бескрайний простор, пахнувший грядущим потопом, концом истории, вечной тайной.

Я долго не мог вернуться к спутникам, к реальности, к себе самому. Зачем понадобилось судьбе столкнуть меня с моей обреченностью, напомнить, как близок последний час?

Чтоб я усомнился в могуществе мысли? Оставил надежду? Пришел к смирению? Одно я знаю: в тот летний день нечто необходимое понял, нечто бесценное потерял.

Вы спрашиваете: был ли я счастлив? Что вы имеете в виду? Доволен ли я своей биографией? Билетом, который однажды выпал из лотерейного колеса?

Я занимался единственным делом, к которому я был способен, к которому испытывал склонность. Стало быть, не смею роптать.

Кому не лестно себя увидеть баловнем, фаворитом, избранныком. С течением времени осознаешь: острое состояние счастья долго не длится, тебе достаются часы и минуты единства с миром, мгновения обретенной гармонии – их ты и помнишь, их воскрешаешь, их сохраняешь в своей кладовой.

Невольники письменного стола обычно редко бывают счастливы. Какой-то неугомонный бубенчик звонит, напоминает: за стол! Ты все еще не написал того, что мог и обязан был написать. И, повинуясь этому зову, снова и снова врас-

таешь в стол.

Тебе ведь мало, тебе недостаточно врожденного своего непокоя, тебе ведь мало своих усилий договориться с самим собой. Куда там! Ты не был бы русским писателем, если б тебя не одолевали думы о былом и о будущем, о судьбе отечества и его миссии.

Эта отзывчивость, столь воспетая нашей словесностью, как известно, родине дорого обошлась.

Где была точка невозврата? Какой исторический перекресток стал роковым? Где сбились с пути? Когда был упущен последний шанс? В двадцатом столетии? Если в нем, в каком из годов? В пятом? В четырнадцатом? В семнадцатом? Или еще того раньше, в прославленном девятнадцатом веке? Все-го лишь за несколько часов до рокового первого марта, когда Лорис-Меликов убедил, сумел уговорить императора и тот подписал важнейший указ, зачеркнутый после его убийства.

А может быть, главная беда, необратимая, определившая наш драматический крестный путь, случилась еще в бесконечно далекое, неразличимое, злое мгновение, когда лукавая Византия перебежала дорогу Риму – воистину третьему не бывать.

Должно быть, поздно уже решать, кто прав был в историческом споре – Пушкин иль все-таки Чаадаев – и надо ли? Наш поезд ушел. И был ли Александр Сергеевич искренним до самого доньшка? Или владела им тайная мысль, что на последний суд к нашим правнукам он может явиться в од-

ном лишь образе – защитника национальной идеи, отстаивая русскую самость? Не знаю. Он и о русской истории заботился с тем же отцовским чувством, что и о русской литературе – не зря же он поднял целину, засеял поле, дал ей все жанры – сказку и басню, роман и повесть, ее поэзию, ее драму, недаром заполнил все лакуны.

Не пожелал ей другой истории. Ни от чего в ней не отрекся. Хотя бестрепетно сознавал и обреченность междоусобиц, и всю бессмысленность русского бунта, и дьявольскую ложь самозванства. Все видел, все помнил, все понимал.

Стойкость ума его была равной стойкому мужеству его сердца, хотя душа его уязвлена была ничуть не меньше души Радищева. Еще один пушкинский урок, весьма возможно, что самый важный для тех, кто посвятил себя Слову.

Вам предстоят непростые годы. День ото дня дешевет жизнь. Никто не уверен, что будущий год встретит он целым и невредимым. Но те, кто долго, не пряча глаз, жили в отгремевшем двадцатом веке, запомнили раз и навсегда, что времена не выбирают.

Будет когда-либо в нашей России нормальное гражданское общество? Нормальный парламент? Нормальные партии?

Все будет. Но не на нашем веку.

Впрочем, для русского литератора редко случались вольготные дни. Отчизна неохотно дает его несговорчивому уму и столь же неуступчивой совести необходимую передышку.

Поэтому дорожите и этой скупой возможностью изложить то, что вы поняли, то, что вас жжет. И ничего никогда не откладывайте на завтрашний день. Никто не знает, каким он будет и будет ли он. Нам остается только надеяться. На то, что однажды отчизне прискучат все наши мнимости и имитации, все эти игры в свободный мир.

Ну что же, за окном рассвело. Юное утро, на вашем столе – пачка непечатой бумаги, вам предстоит рабочий день, вам тридцать лет, впереди вся жизнь. У вас есть все, что нужно для счастья. Все, чего нет у меня давно.

Нужны вам только ясная цель и честолюбие – но в той мере, которая не мешает работе.

Любите свой возраст. Тех, кто толкует об опыте и мудрости старости, пошлите подальше – волнующий замысел и ваша готовность осуществить его важнее и опыта и осмотριтельности. Литература – не для трусливых.

Занятие это небезопасное. Об этом вам тоже следует помнить. Имею в виду не глухих читателей, не окрик цензуры, не гнев властей. Опасно, что при всех ее радостях она способна быть разрушительной. Бальзак был здоров, как овернский бык, рассчитан на столетнюю жизнь и выдержал едва пятьдесят. Таких пострадавших было с избытком. Пишу это не для того, чтоб смутить вас, просто хочу, чтобы вы проверили и трезво распределили силы. Надо отчетливо сознавать, что щедрость – это не расточительство. Творчество – это взаимодействие. Так же, как вы пишете книгу, она, в свою оче-

редь, пишет вас. Входя в нее, вы один. Выходя из возведенного вами дома – уже неразличимо другой.

Вам предстоит в себе обнаружить немаловажные перемены. Быть может, вы про себя узнаете нечто, о чем и не подозревали. Что-то, естественно, приобретете, что-то утратите и – навсегда. Утреннее время надежд, южные полдни однажды сменятся пасмурной порой листопада, холодом ночи, будьте готовы встретить ее во всеоружии.

Прощайте людей, обидевших вас. Уже на излете редющих дней я понял, как это необходимо. Прощаясь с миром, простите его за всю его дурь и несовершенство. Прости нас и ты, своих предшественников, неведомый завтрашний человек. Прости нас так же великодушно, как мы сегодня прощаем тех, кто вновь обманет наши надежды. Прости своих предков, прости и внуков, всех, кто по лености своих душ, по слабости сил, по самонадеянности, не оправдает твоих ожиданий.

Прощай! Это горькое слово «прощание» и благородное слово «прощение», объединятся раз навсегда в своем повелительном наклонении, в завете, в призыве, в своей мольбе. «Прощай!» Однажды приходит время – простить и проститься. Готовьтесь к нему.

Не знаю, насколько не ведают люди о том, что творят, – возможно, и ведают. Но уступают – своим соблазнам, своей природе, своим страстям.

Коль скоро и впрямь нашей бедной планете поручена по-

четная роль учебного полигона Галактики, а пессимисты в своих пророчествах обычно оказываются правы, для вас это ничего не меняет. Вам надо возделывать свой огород. Каждое утро брать в руки перо. Делать свое нелегкое дело.

Все, что пытается встать между вами и письменным столом, – от лукавого. Будь то неодолимый соблазн, друг-собутыльник, желанная женщина.

Не забивайте своей головы суетной мыслью, не изнуряйте своей души суетной страстью. Да, разумеется – новозеландский пчеловод, первым ступивший на Джомолунгму, помнил, что он входит в историю, шерп-проводник, который позволил сделать ему первым на свете эти последние полшажка, знал, как высока их цена. Он понимал, что в памяти мира всегда остаются одни лишь первые, вторые чаще всего забываются, и все-таки отошел в сторонку. Пусть первый заслужил свои лавры, люди, которые добровольно предпочитают остаться в тени, всегда внушали мне восхищение.

Грустно заканчивать свою жизнь и нелегко покидать этот пестрый, несовершенный, безумный мир. Свыкаешься с его несуразностями и остро чувствуешь, как он дорог. Известно, не по хорошу мил, а по милу хорош. Так и есть. Но тут уж ничего не поделаешь. Эту юдоль оставили люди не мне чета, и даже на миг не засбоило движение времени. Оно обладает на диво стойким, несокрушимым иммунитетом.

Но мне не дарована, не дана такая железная неуязвимость. Я – литератор с тонкой кожей, намертво вросший в письмен-

ный стол. Мне трудно смириться с тем, что однажды не будет ни его, ни пера, ни стопки непочатой бумаги. Душа моя вопит и бунтует, не принимает такой жестокой, такой изуверской несправедливости.

Я помню, как один беллетрист так объяснил свое молчание: «Понял, что кончились все слова». Вам не грозят такие открытия. Поэтому любите свой возраст. Ваши иллюзии и богаче и животворней беззубой трезвости, ее унылой кривой усмешки. Всех тех, кто с умным видом толкует об опыте всеведущей старости, пошлите подальше, – они идиоты. Поменьше опасайтесь ошибок и не обуздывайте страстей.

Необязательно стать чемпионом. Достаточно стать хорошим мастером. Не столь торжественно, но надежно.

Не знаю, сумел ли я вам ответить, умерить страхи и опасения. Наверняка сумел утомить. Эпистолярный мой монолог разросся, распух до неприличия. Один замечательный человек когда-то назвал меня минималистом. Да уж! Хорош минималист. Нечего сказать, отличился. Тот, кто горазд на добрый совет, всегда подает дурной пример.

Нет, разумеется, путешествие, которое вам предстоит, – не прогулка. И знать это нужно на берегу. Стоит спросить себя: хватит ли мне решимости не сойти с дистанции? Слышу ли я, как звенит бубенчик, властно усаживающий за стол?

Если уверились – сердцем, кожей, – что никакая иная жизнь, самая звонкая, искусительная, самая громкая судьба, ничто не мило, ничто не греет и нужно вам лишь одно на

свете – день ото дня себя распинать и выворачивать наизнанку, тогда не колеблясь – к столу, к станку!

Только не сетуйте ни на бессонницу, ни на равнодушие мира – сами избрали свою Голгофу.

Как все мы, на заре своих дней, я позволял себе игры с рифмами. Я излечился от этой хвори.

И вот сейчас, нежданно-негаданно, вспомнились давно погребенные, казалось бы уже позабытые, но вдруг ожившие две строки.

Тогда они имели касательство к очередной дописанной рукописи. Сегодня они оказались к месту.

Моя бурлацкая работа,
Ты наконец завершена.

Именно так. Сдаю вам вахту.

Что ж, с Богом, Игорь. Теперь – за дело. Вам тридцать лет. За вашим окном – весеннее золотое утро. Каждой своей травинкой дышит юная праздничная земля. На вашем столе вас поджидает еще непочатая пачка бумаги.

Все, что необходимо для счастья.

Пока бубенчик звенит, вы вправе смело встречать свой завтрашний день.

июль – август 2016

Лишние слезы

Монолог

1

После моих многолетних скитаний по съемным комнатам, по углам, столица нехотя потеснилась, признала все-таки москвичом.

Я наконец обрел пристанище в обширном писательском муравейнике. В ту пору подобное событие было сродни легализации, тем более если оно касалось малоизвестного пришельца.

Послевоенная Москва была вместилищем жарких надежд и драматических отрезвлений. Она вбирала и отбирала, была колыбелью, была скудельницей и перемалывала то с хрустом, то не приметно и беззвучно бесчисленные судьбы и биографии.

Но я был уверен, что вместе с жилищем взял неприступную цитадель. Уж если удалось одолеть эти бездомные мутные годы, я выдюжу любую беду. Знать бы, что еще предстояло!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.